

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://tolstoyleo.ru> приятного чтения!

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский

#### Предисловие

«...Когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек»

«Два исполина», «глыбы», «гиганты», «два гения золотого века русской культуры», «величайшие писатели за всю историю культуры». Так называли современники двух великих русских писателей – Федора Достоевского и Льва Толстого. И эти высокие звания за ними сохраняются до сих пор: конкуренции им так никто и не составил. Более того, многие нынешние известные писатели признаются, что «два исполина» были их Учителями: они отталкивались от их произведений, чтобы создать свой собственный художественный космос. Конечно, как у всех ярких личностей, у Толстого и Достоевского были и враги, и завистники, называющие первого «баринном, юродствующим во Христе», а второго – «тарантулом», «банкой с пауками». Но никто не прославил так русскую литературу, как эти гении. Их имена и по сегодняшний день произносятся во всем мире с восхищением.

И тем страннее выглядит поразительный факт из их жизни: они ни разу не встретились! Хотя родились в двадцатых годах XIX века с разницей лишь в семь лет. И жили не так далеко: Толстой – под Тулой, Достоевский – в Питере. У них были общие знакомые. Например, общий литературный оппонент Иван Тургенев, руководитель журнала «Современник» Николай Некрасов, философ Николай Страхов. И почему-то ни одному из них не пришло в голову взять да и привезти одного к другому.

Однажды 10 марта 1878 года Толстой и Достоевский даже посетили одно собрание – лекцию магистра Петербургского университета Владимира Соловьева. Они находились в одном зале, возможно, даже сидели почти рядом, но даже случайно глазами не встретились, в дверях не столкнулись. Достоевский был со Страховым. Почему тот даже не подумал, наконец, познакомить двух «гигантов»? Загадка.

А ведь они так восхищались творчеством друг друга! Достоевский был в восторге от романов «Война и мир» и «Анна Каренина», называл автора «богом искусства» и «необыкновенной высоты художником», а его творчество «гениальным». В статье об «Анне Карениной», которую он поместил в своем «Дневнике писателя» Федор Михайлович писал: «Такие люди, как автор Анны Карениной, – суть учителя общества, а мы лишь ученики их». Толстой же, по его собственному признанию, «умилялся», читая «Униженных и оскорбленных». А в одном из своих писем писал своему другу: «...читал «Записки из мертвого дома». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». А последней книгой, которую читал Толстой перед своей смертью, были «Братья Карамазовы». Вот как была велика сила притяжения между гениями, однако их пути все время расходились. Кроме того, не смотря на то, что оба переписывались со всеми видными писателями, друг другу они не отправили ни одного письма. Снова загадка, над которой литературоведы и биографы до сих пор ломают голову.

Конечно, в первую очередь исследователи списывают «не встречу» на случайное стечение обстоятельств. Так, например, в 1855 году Толстой приезжал в Петербург к Тургеневу и Некрасову. Но Достоевского в городе не было, он был в ссылке. Когда же он вернулся из заключения, Толстой уже в Питере не появлялся, проводил почти все время только в Ясной Поляне или в Москве. Но Достоевский же мог доехать до Москвы?

По другой версии, писатели, восхищаясь творчеством друг друга, все-таки относились друг к другу с прохладцей. И, возможно, стремясь к встрече, подсознательно противились этому желанию. Опасались разочаровать и разочароваться?

Так, по воспоминаниям современников, Достоевский не скрывал, что Толстой – больше художник, чем мыслитель. А Толстой критически относился к манере и стилю письма коллеги. И вообще, как писал позже Максим Горький в своей книге о Толстом, «о Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая». По сведениям биографов, Достоевский за год перед своей смертью, в

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
1880 году, даже все-таки собрался приехать в Ясную Поляну, но поверил распространившимся слухам о сумасшествии Льва Николаевича и испугался встретаться с безумцем. 27 мая 1880 года Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». Хотя в это время и самого Федора Михайловича многие недоброжелатели считали бесноватым из-за эпилептических припадков. Да и кого из гениев не называли сумасшедшим?

А Лев Николаевич очень переживал, что Достоевский, которого считал равным себе, так до него и не доехал. После его смерти Толстой писал: «Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском <...>. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератором, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним – никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что, чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум – тоже, но дело сердца – только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом – я один обедал, опоздал – читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

Не смотря на то, что свидание «титанов мысли» так и не произошло в реальности, их пытались свести вместе «виртуально» критики и литераторы, анализируя их творчество в своих статьях, монографиях, книгах. Так, известный писатель и литературный критик Дмитрий Мережковский в своей монографии «Л. Толстой и Достоевский» исследует и сопоставляет творчества и мировоззрения обоих писателей. Философ и литературный критик Константин Леонтьев в изданной в 1882 году брошюре «Наши новые христиане» рассуждал об общественно-религиозной состоятельности их учений. Свое мнение о писателях выразил в свое время и философ Николай Бердяев: «Как глубоко различие между Достоевским и Толстым!.. Толстого не мучит вопрос о человеке, его мучит лишь вопрос о Боге. Для Достоевского же вопрос о Боге связан с вопросом о человеке. Толстой более теолог, чем Достоевский». Философ и культуролог Григорий Померанц в своей книге «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» констатировал: «Наиболее полно русская жизнь, со всей ее красотой и безобразием, со всем ее размахом, отразилась в романах Толстого и Достоевского. Развитие их было очень сложным; понять его, вложить в схему – особенно трудно».

Толстой и Достоевский должны были встретиться и встретились – в этой книге.

Лев Толстой  
Без любви жить легче  
Исповедь

Т  
Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственной его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большую часть противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, что он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное знание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

## II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всю душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною доволен. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»[1]; еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но отчина, данного мне этими людьми, – отчина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

### III

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрывать то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским именем, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?...» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

#### IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общезе хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употребить против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употребить хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, – что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь,



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, – а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное все – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?...» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидал, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученых, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопрос моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидел, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Все это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поразительную бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрепятственные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторических, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И, наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? И зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?... И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

## VI

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидел ясно беспредельные пространства, но увидел, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидел мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, – говорил я себе, – все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – никакого. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек прееет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек рассколется – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (Wille zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так боимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и оторвалась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, есть ничто».

«Суета сует, – говорит Соломон, – суета сует – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
а земля пребывает веками. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести веками ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость.

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и спрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. «Что это?» – Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

## VII

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче – завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидел их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?... Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.



Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое и неорганическое – все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних-давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

### VIII

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – так, какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, соломонов и шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придадут и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, «потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презируемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

## IX

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ:  $a = a$ , или  $x = x$ , или  $0 = 0$ . То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество:  $0 = 0$ , жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнялось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что  $0 = 0$ , и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнять конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем, с тем чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет 0 = 0, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

Х

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с той только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия, такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтобы оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с соломоном вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Верование этих людей из народа было тоже христианское, как верование мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойной и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это – добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

## XI

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как  $2 \times 2 = 4$ , но я не признавал ее, потому, что, признав  $2 \times 2 = 4$ , я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем  $2 \times 2 = 4$ . Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если бы они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, – другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то эту жизнь всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и сиять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого.



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрести к берегу – соединиться с богом. И так, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарбарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

#### XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения все яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ножи врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокаивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставлен в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фавулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

## XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурач». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквам – к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидел, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидел, что ко всем, не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к *filioque* и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедается неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

#### XVI

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, – я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, – исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или, по крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

\* \* \*

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движением выскальзывает из-под голени и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» – и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Воспоминания

Введение

Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидел, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

#### Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день  
И на немые стогны града  
Полупрозрачная наляжет ночи тень  
И сон, дневных трудов награда, –  
В то время для меня влачатся в тишине  
Часы томительного бденья:  
В бездействии ночном живей горят во мне  
Змеи сердечной угрызенья;  
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток:  
И, с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу, и проклиная,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.  
В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил  
бы: строк постыдных не смываю.

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

«6 янв. 1903 г.

Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, – сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению:  $x =$  положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастье – уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, – таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидел, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, – похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и  
которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle»)[2].

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, – мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное – полезнее другим людям.

I

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю – не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица – от отца до кучеров – представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, – которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к искусству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата – равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, – я хорошо знал это.

Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, – это то, что они никогда, именно никогда никого, – это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, – никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, – это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сношении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. – были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «Ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être auprès de toi...»[3] и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: «mon bon ami»[4], и в одном из писем прямо говорит: «Le temps me paraît long sans toi, quoiqu'à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici»[5], и всегда подписывается одинаково: «ta dévouée Marie»[6].

Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.

## II

Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...».

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.

Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старшие князя разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной – кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: *mon petit Benjamin*[7].

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец, даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой *m-elle Hénissienne*, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. *M-elle Hénissienne* эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой *m-elle Hénissienne*. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: «*Je m'arrange très bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, ou je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des réconciliations, des injures, et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, où tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage*»[8].

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, – это то, что он «задумывается» и вместо *bonsoir*[9] или *bonjour*[10] говорит бабушке: «*Je vous remercie*»[11].

Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.

Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме бабушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я – меньшей, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, – кажется, не больше 9 лет, – была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.

### III

Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.

Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илинька был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13–14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе – это видно по письмам, – вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допуская его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмущилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.

Возвращаясь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты – и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков – пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественноисторических сочинениях – Бюффон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти *histoires des croisades et des papes*[12], которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образования людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: «Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер». Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия...» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек...» и т. д... Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине». Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами молодые борзые, разрезавшись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то – мы не видели – борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструненного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смиренно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пушай». Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стукает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта – торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.

Мы все смотрим туда же.

Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает – радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую жилистую руку.

Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.

Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.

#### IV

Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщиной. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича – Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но bestолково мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не переставшее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, – кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислужгой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, – вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, – чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чашу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпающихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись.

Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как шелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подола и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце – соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание – это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» – «Да, продолжайте». – «Любезная сестрица, сказала она, – заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, – расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». – «Охотно, – отвечала Шехерезада, – рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так:

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампы.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице – жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.

V

Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.

Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.

Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходящей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившись, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произшла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru придворного повара, девочку. Эта девочка – Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.

Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуной, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.

Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Аline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.

Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.

Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кухней Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Аline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполнило ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуной, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служению богу, как она понимала это служение.

## VI

Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Черномском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетки, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая – бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одним из лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцевола и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», – сказала она. «Не сделаешь», – сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», – сказал он. Она вытянула белую руку, – тогда девочки ходили всегда декольте, – и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидели ее рану и стали спрашивать, как это случилось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «Toinette, oh, elle était charmante»[13]. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition – celle de l'épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre – tant que je vivrai»[14].

Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома – говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные – крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе – любовь к одному человеку – к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, mes chers amis[15], комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.

Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещами, ценными только для нее, в правом – кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем, посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.

Тогда можно было сказать: «wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich»[16]. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я – ее милую, энергическую, она – мою грязную, порочную руку, поздоровается тоже по старой привычке по-французски, пошутит с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сажу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворне, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы – всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отнял нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала: «Что-то наш Сергеиус?»

Только вместо Сережи – Сергеиус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела – и не дела – дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любящейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было куда торопиться. И эти два свойства – любовность и неторопливость – незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат – вечных мучений: «Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances»[17].

Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.

«Заходи, заходи, – скажет она, бывало. – А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, пасьянс сделаем», – говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памяты. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала», – говорили все. И ее любили и сильно любили за это. Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait[18] не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.

## VII

Немца нашего учителя Фед. Ив. Ресселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты –

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, – это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темешовым. Сделка эта была вот такая.

Темешов был очень богат, законных детей у него не было. А было только две дочери: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницами Темешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, он желал передать отцу с тем, чтобы ценность имения, 300 тысяч (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше), отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темешов делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300 тысяч, отец же давал векселя трем посторонним лицам – Исленьеву, Языкову и Глебову по сто тысяч каждый. В случае смерти Темешова отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч, которые должны были идти двум девочкам.

Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Пирогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленьева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам, Языков же присвоил себе эти не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после.

Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и больша плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что, когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал: что съел – это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, а Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений.

### VIII

Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц: остановиться там, где кончается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам, а лица эти интересны, продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства, будет неясно для читателя, потеряна связь рассказа.

Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь, даже наверно не успею, и потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь, и для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании.

Итак, продолжаю, как хотел: описывая сначала тех ближайших людей прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потом сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и несвязно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге: 1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч [?], 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон.

Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве». Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено – дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа – экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» – кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

– Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был, – ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла очаковским куреньем. По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.

Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна с своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и из блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидев меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.

Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик, как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын и Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу, назад.

Да, но прежде скажу хоть несколько слов о камердинерах и Тихоне.

В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только – векселя и другие – были подкинута в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились – особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей. Большое уважение к ним вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашенные куколочки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней.

Тихон-официант, тот, который таскал табак и которого мы очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежутком между носом и твердо сложенным ртом и подвижным лбом и бровями над веселыми, серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом. Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять что попало и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в походе на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с венчиком из прудового тростника убирал комнаты, днем сидел в передней и вязал чулки.

Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная – диван, большой, круглый, красного дерева стол, под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балко[нная] дверь и в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с [1 неразобр.] и золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинишна, Татьяна Александровна, Пашенька, Маш[енька], дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной (про которую сейчас расскажу), Федор Иваныч, все собрались, ждут папеньку из кабинета. Вот он выходит бодрым быстрым шагом, с своей сангвинической красной шеей, мягких без каблуков сапог, добрыми красивыми глазами и грациозно мужественными движениями. Иногда он выходит с трубкой в руке, отдает ее лакею. Он выходит и подсаживается к бабушке, целуя ее руку и что-нибудь шутя с нами, тетушками или Федором Иванычем.

– Что ж не дают обедать? – крикнет он своим бодрым и ласковым голосом. Из официантской выходит кто-нибудь из его камердинеров-охотников: Володя, Матюша, Петруша (про них тоже надо рассказать).

– Сейчас подают.

И действительно, в огромно высокую дверь (темно-красную, подмалеванную, двери такие и остались) входит в синем сюртуке с высокими со сборками плечами дворецкий, бывшая вторая скрипка в оркестре дедушки, Фока Демидыч, с своими сходящимися поднятыми бровями и с очевидной гордостью и торжественностью объявляет:

– Кушанье поставлено.

Все поднимаются, отец подает руку бабушке, за ними следуют тетушки, Пашенька, мы с Федором Иванычем и кто-нибудь из живущих и Марья Герасимовна. Я подхожу (я помню это, как всегда помнится почему-то ярко один момент) с левой стороны к отцу, рука его касается моих волос, шеи, я люблю эту белую руку с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони и держу, и не смею, и, наконец, целую; рука пожимает мне щеку, и я умиленно счастлив. Проходим официантскую площадку перед лестницей и входим в большую залу. Почти за каждым стулом стоят лакеи с тарелками, которые они держат в левой руке у левой стороны груди. Если есть гости, то их лакеи всегда стоят за их стульями и служат им. На столе, покрытом работы своих ткачей грубоватой скатертью, графины с водой, кружки с квасом, ложки серебряные старые, ножи и вилки железные с деревянными ручками, стаканы самые простые, тонкие. Суп разливают в буфете, лакеи разносят к супу пирожки. Но нам не дают почему-то пирожков, и камердинер Петруша, особенно расположенный ко мне, потихоньку подсовывает мне пирожок. Как удивительно вкусен этот пирожок! За обедом, впрочем, все удовольствие, все радостно, все вкусно, все весело. Трудно только сидеть неподвижно, и если не позволено шевелить верхней частью тела, то замещаешь это тем, что болтаешь усиленно под столом недостающими до полу толстыми ножонками в белых нитяных чулках, сделанными своим глухим Алексеем-сапожником башмаками. Все вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куска жилистой говядины, который мнешь, мнешь и, пока большие заняты разговорами, выплюнешь в маленькую ладонь и бросишь под стол. Вкусна каша, вкусен картофель печеный, репа, вкусны куры с огурцами и, главное, вкусно пирожное, всякое пирожное, оладьи, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Весело слушать иногда разговоры старших, когда понимаешь их, и переговариваться с братьями о наших, одним нам интересных, предметах, и особенно весело смотреть на Тихона. Тихон – это бывшая флейта в оркестре дедушки, маленький веселый человечек с удивительным, как нам казалось, талантом комизма. Он стоит, бывало, за бабушкой или за отцом, вдруг, вытянув свои длинные бритые губы, взмахнет тарелкой и сделает комическую выкрутасу. Мы засмеемся. Кто-нибудь из больших оглянется, и Тихон стоит, как статуя, замерев в неподвижной позе с тарелкой у груди. Бывает за обедом и еще удовольствие, когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.



– Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! – говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое – буква, второе – птица, а все – маленький домик. Это б – утка – будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе.

Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку, он идет к себе, бабушка в гостиную, мы вниз, и начинается рисование. Иногда приходит отец, говорит с Федором Иванычем по-немецки, удивляя нас своим выговором. Он говорит правильно: Sie – зи, ganz – ганц, а мы по-саксонски, как Федор Иваныч – си и янц, и с недоверием слушаем выговор отца. Он иногда рисует нам. Потом идем прощаться с бабушкой, тетушками, Николай Дмитрич, наш дядька, собирает паше платье, перевешивает на руку и желает нам покойной ночи и приятного сна. Иногда мы не спим и переговариваемся до тех пор, пока входит в темноте Федор Иваныч, высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, ложится на свою постель с высокими подушками, тушит свечку, и я засыпаю.

Братья

Начну с младших. Митенька одним годом старше меня.

Нет еще. Не могу перейти к братьям. Надо упомянуть о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом и служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: «И меня! теперь меня!») и носил по буфету, таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василия Трубецкого) на святках, в то время, как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик». Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру на скрипке старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженные были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки – мужчины и мужики – бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженные и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с камнями и кисейные полотенца, вышитые серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами. В одну из святок в моем первом детстве во время святок приехали к нам все Исленьевы ряженные: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленьевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленьев сел за фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

С Новым годом вас поздравить

Мы приехали сюда;

Коль удастся позабавить,

Будем счастливы тогда.

Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее было дворовые.

Такие увеселения происходили первые дни рождества и под Новый год, иногда и после, до Крещенья. Но после Нового года уже приходило мало Народа, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенной залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик». Помню, одна дворовая особенно приятно и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я понимал, что это было повышение, и рад был за Василья, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним; знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно грустно, и напевы: «пошел рублик», сделались умильно трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василью.

Когда я после встречал Василья, я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика, брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего святого, братского, человеческого чувства.

Теперь, кажется, могу перейти к братьям.

Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен: рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно изменяется только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься) кого-нибудь (так я боялся нищих, боялся одного Волхонского, который щипал меня; больше, кажется, никого) и когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василья, няню, главное Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детских веселых глупостей, не помню о нем. Особенности его проявились и памяты мне уже в Казани, когда мы переехали в 40 году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу после, и учился хорошо, усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда), и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

## IX

Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после рассказа). Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужествен и то, что делал, доводил до предела своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было) и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как выполз из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же подошел – мальчик лет 9-ти к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило высечь.

В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко, помню, прекрасно перевел Шиллера *Der Knahe am Bach*[19] но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекуни-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке был дан Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен – не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет, он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение *comme il faut*, вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолodu уже у него появился тик – подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Особенность его первая проявилась во время первого говенья. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви.

Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, во Митенька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор, но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главное – Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми, Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залой. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жил Сережа и я. Мы, и я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей – это минералы. Он распределил их на деления и разложил их под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка, с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек, инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам, один раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их. Митенька сказал: «Оставьте». Ес. не послушался. И что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать. Митенька за ним. Когда он прибежал в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустить Ес. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный [1 неразобр.] чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы, но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, – не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, – я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухшее так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевыми, без бровей подушками. Такие же распухшие, гляцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Сидела у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Вл. Ив. Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал свое отвращение к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.

Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер.

Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали именье, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово, он и желал этого, Митеньке и Николеньке отдали остальные два именья: Николеньке – Никольское, Митеньке – курское именье Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему осторожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности. Но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо, – это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль – это законодательство. И, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приемов. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), с спокойным и серьезным, [с] прекрасными глазами, лицом и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезным отечеству, избрал своей деятельностью законодательство.

– Ваша фамилия?

– Граф Толстой.

– Вы нигде не служили?

– Я только кончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.

– Какое же место вы желаете иметь?

– Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

Серьезность искренняя так поразила Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновникам. Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Дмитрия Александровича Оболенского, который в наше казанское время был там стряпчим.

Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь. Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего света, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я (Оболенский) сначала не узнал его, но когда узнал, постарался le mettre a sou aise[20], познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? – Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но с свойственным ему тактом и внешним добродушием он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

После выхода его да и моего из университета я потерял его из вида. Знаю, что он жил той же строгой, воздержной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин до 25 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходилась с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукой. Он ходил в подряснике, был очень безобразен, маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необычайно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька увозил с собой и, как я слышал, водился с стариком старого заказа, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь испытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он [умер] через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали.

Бросил хронологический способ изложения – думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится. Не буду так отдельно описывать братьев С[ережу] и Н[иколеньку] и буду писать опять по порядку, как запомню.

фанфаронова гора

Да, фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10–11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что [он] не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе *m-me Radcliff* без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было – мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видеть зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия, и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска, Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.

Брат Сережа

Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому – непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу – слово любил неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем [-то] совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба – и я делал то же.

О братьях придется говорить еще много после, если удастся довести воспоминания хотя бы до женитьбы.

Постараюсь вспомнить самые живые и радостные (грустных, тяжелых не было) до переезда в Москву.

В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумант (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумант). Там скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально, такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный, с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, деревянным диванчиком и столом с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол.

Домик стоял за деревушкой [в] четыре или пять дворов, в месте, называемом сад, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку, с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом; и перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, линьями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное, и не только пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушки, Пашенька и девочки в линейке, а мы четверо с Федором Ивановичем в желтом дедушкином кабриолете с высокими круглыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).

За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. Два часа. Мы

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoy1eo.ru должны ехать в четыре и вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать; с запада из-за деревьев и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Федор Иванович старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно выглядывает через перилы. И мы ждем его решенья. «Эта на Сатинка», – говорит он, указывая на самую большую лиловатую тучу. «А это пустой», – говорит он, указывая на другую, идущую с востока.

«Ну, что? wie glauben Sie?»[21].

«Muss warten»[22].

Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Сережа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается! Федор Иванович, kommen sie. Blauer Himmel!»[23]

– wo?[24]

– kommen sie![25]

Действительно, между расползающимися тучами голубой кусочек то затягивается, то растягивается. Вот еще, еще. Вот блеснуло солнце.

– Тетенька! Разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите, Федор Иванович сказал.

Зовут Федора Ивановича, он нерешительно, но подтверждает. Колебание и на небе, и у тетенок. Тетенька Татьяна Александровна улыбается и говорит: «Je crois, Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvera plus. Il ne pleuvera pas!»[26] Смотрите».

– Тетенька, голубушка, велите запрягать. Пожалуйста. Тетенька, голубушка! – кричим больше всего Сережа и я, и помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит на конюшню. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетешек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппыч правит. Запряжены неручинские гнедые, левая светло-гнедая, широкая с [1 неразобр.] и правая темная, костлявая, с крепотцой, как говорил Николай Филиппыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определено. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за нами садимся мы – я и Митенька – спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ – одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «halten sie sich, kinder»[27], – говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжаем мост, едем вдоль реки, опять мост [?] и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радует Матрена, тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, окружившие Федора Ивановича Берфу (леговая шарло), прибежавшую за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой посоленный кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком.

Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса, час на Груманте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru случаем, от которого мы – по крайней [мере] я и Митенька – горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Федора Ивановича, бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из грумантского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету, Федор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Федор Иванович с Николаем Дмитричем, нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена и никогда не будет годиться для охоты.

Я слушал, что говорил Федор Иванович с Николаем Дмитричем в маленькой комнатке наверху, и не верил своим ушам, когда услышал слова Федора Ивановича, который каким-то молодецким, решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конец».

Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон Федора Ивановича и Николая Дмитрича, одобрявшего это решение, был такой решительный, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темешов рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в пост ел скоромное, почувствовал, что что-то дурно, но ввиду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны, а передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал; редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выразалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы муравейные братья, и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу. Но это было редко. И мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о Моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Сиделись на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие-то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого.

События в детской деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъездное поле, рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались, как к важным событиям.

Потом – приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его стулом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей. Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное: карикатуры, кукол, игрушки.

Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, – это, как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темешов и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Темешов, добродушный Темешов, очень просто сказал: «У меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным, для меня непонятным.

Еще событие было – Перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
наложенными возами, который приехал из Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофановичу, был выигран.

Илья Митрофанович был пьющий запоем, высокий, с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до своей смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое – приезд его брата – знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный, сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров, и дал тетушке платки и сказал: этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал. Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека.

Третье впечатление – это было посещение какого-то – не знаю – двоюродного брата матери, князя, гусара Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две.

Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться.

Переезд в Москву

Это было в 37-м году. Но когда – осенью или зимой – не могу припомнить. В пользу того, что это было зимой, только то, что было 7 экипажей и был возок для бабушки с такими широкими отводами, на которых стояли всю дорогу камердинеры, что в Серпухове возок не вошел в ворота. Это я помню, вероятно, по рассказам. В воспоминаниях же моих осталась поездка на колесах. Может быть, я спутал, и возки эти были при нашем отъезде в Казань. Скорее то, что мы ехали на колесах. Я помню это потому, что осталось у меня впечатление от того, что отец ехал сзади в коляске и нас по переменкам – это была большая радость – брали к нему. Помню, что мне досталось въезжать в Москву в коляске с отцом. Был хороший день, и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву. Еще признак, по которому помню, что это было по чернотропу, тот, что на 1-й день нашей езды (мы ехали на сдаточных – два дня; ночь ночевали) к вечеру, когда уже стемнело, мы услышали, что близ дороги показалась лисица, и Петруша, камердинер отца, везший с собой борзого кобеля серого Жирана, пустил его за лисицей и побежал за ней. Мы ничего не видели, но очень волновались и огорчились, узнав, что лисица ушла.

О жизни

(отрывок)

..Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему.

Зло в виде смерти и страданий видны человеку только, когда он закон своего плотского животного существования принимает за закон своей жизни. Только когда он, будучи человеком, спускается на степень животного, – только тогда он видит смерть и страдания. Смерть и страдания, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви. Смерть и страдания суть только преступления человеком своего закона жизни. Для человека, живущего по своему закону, нет смерти и нет страдания.

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем, и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
найдете покой душам вашим».

«Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (От Мат. Гл. 11).

Жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом.

Прибавление 1-е

Обыкновенно говорят: мы изучаем жизнь не по сознанию своей жизни, а вообще вне себя. Но ведь это все равно, что сказать: мы рассматриваем предметы не глазами, но вообще вне себя.

Предметы мы видим вне себя потому, что мы видим их в своих глазах, и жизнь мы знаем вне себя потому только, что мы ее знаем в себе. И видим предметы мы только так, как мы их видим в своих глазах, и определяем мы жизнь вне себя только так, как мы ее знаем в себе. Знаем же мы жизнь в себе, как стремление к благу. И потому, без определения жизни как стремления к благу, нельзя не только наблюдать, но и видеть жизнь.

Первый и главный акт нашего познания живых существ тот, что мы много разных предметов включаем в понятие одного живого существа, и это живое существо исключаем из всего другого. И то и другое мы делаем только на основании всеми нами одинаково признаваемого определения жизни, как стремления к благу себя, как отдельного от всего мира существа.

Мы узнаем, что человек на лошади – не множество существ и не одно существо, не потому, что мы наблюдаем все части, составляющие человека и лошадь, а потому, что ни в голове, ни в ногах, ни в других частях человека и лошади мы не видим такого отдельного стремления к благу, которое мы знаем в себе. И узнаем, что человек на лошади не одно, а два существа, потому что узнаем в них два отдельные стремления к благу, тогда как в себе мы знаем только одно.

Только поэтому мы узнаем, что есть жизнь в соединении всадника и лошади, что есть жизнь в табунах лошадей, что есть жизнь в птицах, в насекомых, в деревьях, в траве. Если же бы мы не знали, что лошадь желает себе своего и человек своего блага, что того желает каждая отдельная лошадь в табуне, что того блага себе желает каждая птица, козявка, дерево, трава, мы не видели бы отдельности существа, а не видя отдельности, никогда не могли бы понять ничего живого: и полк кавалеристов, и стадо, и птицы, и насекомые, и растения – все бы было как волны на море, и весь мир сливался бы для нас в одно безразличное движение, в котором мы никак не могли бы найти жизнь.

Если я знаю, что лошадь, и собака, и клещ, сидящий на ней, – живые существа, и могу наблюдать их, то только потому, что у лошади, и собаки, и клеща есть свои отдельные цели, – цели, для каждого, своего блага. Знаю же я это потому, что таковым, стремящимся к благу, знаю себя.

В этом стремлении к благу и состоит основа всякого познания о жизни. Без признания того, что стремление к благу, которое чувствует в себе человек, есть жизнь и признак всякой жизни, невозможно никакое изучение жизни, невозможно никакое наблюдение над жизнью. И потому наблюдения начинаются тогда, когда уже известна жизнь, и никакое наблюдение над проявлениями жизни не может (как это предполагает ложная наука) определить самую жизнь.

Люди не признают определения жизни в стремлении к благу, которое они находят в своем сознании, а признают возможность знания этого стремления в клеще, и на основании этого предполагаемого, ни на чем не основанного знания того блага, к которому стремится клещ, делают наблюдения и выводы даже о самой сущности жизни.

Всякое мое понятие о внешней жизни основано на сознании моего стремления к благу. И потому, только познав, в чем мое благо и моя жизнь, я буду в состоянии познать и то, что есть благо и жизнь других существ. Благо же и жизнь других существ, не познав свою, я никак не могу знать.

Наблюдения над другими существами, стремящимися к своим, неизвестным мне, целям, составляющим подобие того блага, стремление к которому я знаю в себе, не только не могут ничего уяснить мне, но наверное могут скрыть от меня мое истинное познание жизни.

Ведь изучать жизнь в других существах, не имея определения своей жизни, это все равно, что описывать окружность, не имея центра ее. Только установив одну непоколебимую точку как центр, можно описывать окружность. Но какие бы фигуры мы ни рисовали, без центра не будет окружности.

#### Прибавление 2-е

Ложная наука, изучая явления, сопутствующие жизни, и предполагая изучать самую жизнь, этим предположением извращает понятие жизни; и потому, чем дольше она изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать.

Сначала изучаются животные млекопитающиеся, потом другие, позвоночные, рыбы, растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы, и дело доходит до того, что теряется различие между живыми и неживыми, между пределами организма и неорганизма, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не может быть наблюдаемо. Тайна жизни и объяснение всего представляется в запятых, живчиках, не видных уже, а скорее предполагаемых, нынче открываемых, а завтра забываемых. Объяснение всего предполагается в тех существах, которые содержатся в микроскопических существах, и тех, которые еще и в этих... содержатся, и т. д. до бесконечности, как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность такая же, как и бесконечность великого. Тайна откроется тогда, когда будет исследована вся бесконечность малого до конца, т. е. никогда. И люди не видят того, что представление о том, что вопрос получает разрешение в бесконечно малом, есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно. И эта последняя стадия безумия – та, которая явно показывает совершенную утрату смысла исследований, – эта-то стадия и считается торжеством науки; последняя степень слепоты представляется высшей степенью зречести. Люди зашли в тупик и тем явно обличили перед собой ложь того пути, по которому они шли; и тут-то нет пределов их восторгам. Еще немного усилить микроскопы, и мы пойдем переход из неорганического в органическое и органического в психическое, и вся тайна жизни откроется нам.

Люди, изучая тени вместо предметов, забыли совсем про тот предмет, тень которого они изучали, и, все дольше и дольше углубляясь в тень, пришли к полному мраку и радуются тому, что тень сплошная.

Значение жизни открыто в сознании человека, как стремление к благу. Уяснение этого блага, более и более точное определение его, составляет главную цель и работу жизни всего человечества, и вот, вследствие того, что работа эта трудна, т. е. не игрушка, а работа, люди решают, что определение этого блага и не может быть найдено там, где оно положено, т. е. в разумном сознании человека, и что поэтому надо искать его везде, – только не там, где оно указано.

Это вроде того, что бы делал человек, которому дали на записке точное указание того, что ему нужно, и который, не умея прочесть ее, бросил бы эту записку и спрашивал бы у всех встречных, не знают ли они того, что ему нужно. Определение жизни, которое неизгладимыми буквами, в его стремлении к благу, начертано в душе человека, люди ищут везде, только не в самом сознании человека. Это тем более странно, что все человечество, в лице мудрейших представителей своих, начиная с греческого изречения, гласившего: «познай самого себя», говорило и продолжает говорить совершенно обратное. Все учения религиозные суть не что иное, как определения жизни, как стремления к действительному, необманному благу, доступному человеку.

#### Прибавление 3-е

Все яснее и яснее слышится человеку голос разума; человек чаще и чаще прислушивается к этому голосу, и приходит время и пришло уже, когда голос этот стал сильнее, чем голос, призывающий к личному благу и к обманному долгу. С одной стороны, становится все более и более ясным, что жизнь личности с ее приманками не может дать блага, с другой стороны, то, что уплата всякого долга, предписываемого людьми, есть только обман, лишаящий человека возможности уплаты по единственному долгу человека – тому разумному и благому началу, от которого он исходит. Тот давнишний обман, требующий веры в то, что не имеет разумного объяснения, уже износился, и нельзя возвратиться к нему.

Прежде говорили: не рассуждай, а верь тому долгу, что мы предписываем. Разум

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru обманет тебя. Вера только откроет тебе истинное благо жизни. И человек старался верить и верил, но сношения с людьми показали ему, что другие люди верят в совершенно другое и утверждают, что это другое дает большее благо человеку. Стало неизбежно решить вопрос о том, какая – из многих – вера вернее; а решать это может только разум.

Человек и всегда познает все через разум, а не через веру. Можно было обманывать, утверждая, что он познает через веру, а не через разум; но как только человек знает две веры и видит людей, исповедующих чужую веру так же, как он свою, так он поставлен в неизбежную необходимость решить дело разумом. Буддист, познавши магометанство, если он останется буддистом, останется буддистом уже не по вере, а по разуму. Как скоро ему предстала другая вера и вопрос о том, откинуть ли свою или предлагаемую, – вопрос решается неизбежно разумом. И если он, узнав магометанство, остался буддистом, прежняя слепая вера в Будду уже неизбежно зиждется на разумных основаниях.

Попытки в наше время влить в человека духовное содержание через веру помимо разума – это все равно, что попытки питать человека помимо рта.

Общение людей показало им ту, общую им всем, основу познания, и люди уже не могут вернуться к прежним заблуждениям – и наступает время и наступило уже, когда мертвые услышат глас сына божия и, услышав, оживут.

Заглушить этот голос нельзя, потому что голос этот не чей-нибудь один голос, а голос всего разумного сознания человечества, который высказывается и в каждом отдельном человеке, и в лучших людях человечества, и теперь уже в большинстве людей.

Правила

(из дневников)

[Март – май 1847 г.]

Правила внутренние или в отношении к самому себе разделяются на правила образования нравственного и правила образования телесного. Задачей первых есть: развить волю, умственные способности (обдуманность и деятельность). Воля бывает на различных ступенях развития, смотря по тому, над какой частью человека она преобладает. Три главные момента ее владычества суть: преобладание над телом, преобладание над чувствами и над разумом. В каждый момент ее преобладания она сливается в одно с той частью человека, над которой она преобладает, так что уже не существует более этой части самостоятельно, а существует только воля, одаренная способностями этой части человека.

Ежели воля преобладает над телом, что есть низшая ступень ее развития, то тело перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная. Ежели она преобладает над чувствами, то ни тело, ни чувства более не существуют самостоятельно, а существует одна воля телесная и чувственная; ежели же воля преобладает над разумом, то разум перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная, чувственная и разумная. Ибо когда воля преобладает над какой бы то ни было из этих частей человека, то она может отречься от требований каждой этой части человека. Ежели же она может отречься, то она может и выбирать; ежели же она выбирает, то она и определяет деяния каждой из этих частей человека; ежели же она определяет все деяния человека, следовательно, ни тело, ни чувства, ни разум не могут действовать самостоятельно, и одна только воля может заставить их делать то или другое.

Низшее преобладание воли есть преобладание ее над телом. Эту ступень развития воли мы находим почти у всех людей, она есть необходимое условие существования человека, хотя и есть немногочисленные исключения: младенчество, дряхлость и болезни, как телесные, так и духовные (апатия, анемия). Воля телесная хотя и самостоятельна, но, однако, подлежит влиянию чувства и разума. Вторая степень преобладания воли – преобладание ее над чувствами, или воля чувственная, встречается реже. Хотя воля чувственная выше воли телесной, не менее того на нее имеет влияние высшая способность духа – разум.

Высшая же степень преобладания воли есть преобладание ее над разумом. Когда воля преобладает над разумом, то ни тело, ни чувства не существуют более самостоятельно, а существует одна воля разумная. Эта степень преобладания есть высшая степень развития духа человека; в этом положении дух совершенно отделяется от тела, он более не связан им. Эту степень развития воли мы весьма

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru редко встречаем. В этом состоянии воля повелевает разуму мыслить, и мыслить об том только, что разумно. В этом положении души тело, чувства и разум перестают существовать самостоятельно, существует одна воля, одаренная телесными, чувственными и разумными способностями человека; в этом положении дух человека восходит на высшую степень своего развития и совершенно отдалается, от всего вещественного и чувственного; в этом положении души разум мыслит только потому, что воля хочет, чтобы он мыслил, и мыслит о том, а не о другом, потому что именно этот предмет мышления избрала воля. На таковую степень воли ничто не имеет влияния.

Для того, чтобы развить волю вообще и дойти до высшей ступени ее развития, надо необходимо пройти и низшие ступени. Сообразно с этим делением воли, я и правила нравственные, имеющие предметом развить волю, делю на три отдела: на 1) правила для развития воли телесной, 2) правила для развития воли чувственной, 3) правила для развития воли разумной.

Правила для развития воли телесной

Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей. Так как мы уже сказали, что на волю телесную имеют влияние чувства и разум, то эти две способности должны определить правила, по которым бы могла действовать воля телесная для своего развития. Чувства дают ей направление и указывают цель ее, разум же дает способы, которыми телесная воля может достигнуть этой цели.

Правило 1) каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в продолжение целого дня, и исполняй все назначенное даже в том случае, ежели исполнение назначенного влекло за собою какой-нибудь вред. Кроме развития воли, это правило разовьет и ум, который будет обдуманнее определять деяния воли. Правило 2) спи как можно меньше (сон, по моему мнению, есть такое положение человека, в котором совершенно отсутствует воля). Правило 3) все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно. 4) Будь верен своему слову. 5) Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив. 6) Имей всегда таблицу, в которой бы были определены все самые мелочные обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубок курить в день. 7) Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные способности на тот предмет, который ты делаешь. Ежели же переменяется твой образ жизни, то переменяй и эти правила.

Правила для развития воли чувственной  
(Чувства сами назначают себе цель.)

Источник всех чувств есть любовь вообще, которая разделяется на два рода любви: любовь к самому себе, или самолюбие, и любовь к всему нас окружающему. (Я не признаю любви к богу; потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе, и непостижимому существу.) Эти два основные чувства действуют взаимно одно на другое. Общее правило: все чувственные деяния не должны быть бессознательным исполнением потребностей чувства, но определением воли. Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны. Рассмотрим каждый разряд чувств порознь. Какие чувства происходят от самолюбия? 1) Славолюбие, 2) корыстолюбие, 3) и любовь (между мужчиной и женщиной).

Теперь посмотрим, какие должны быть правила для преобладания воли над каждым из этих чувств.

Правила для подчинения воле чувства самолюбия

Правило 8) не заботься о одобрении людей, которых ты или не знаешь, или презираешь. Правило 9) занимайся более сам с собою, чем мнением других. 10) Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. (Славолюбие бывает полезно другим, но не самому себе.) 11) Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам для подчинения чувств воле нужно прибавить еще одно следующее. 12) Никогда не выражай своих чувств наружно.

Правила для подчинения воле чувства корыстолюбия

Правило 13) живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. 14) Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз богаче. 15) Всякое приращение к твоему

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
имению употребляй не для себя, а для общества.

Правила для подчинения воле чувства любви

Правило 1-е. Отдаляйся от женщин. 2-е. Убивай трудами свои похоти.

Чувства, происшедшие от любви, суть: 1) любовь ко всему существующему, 2) любовь к отечеству, 3) любовь к известным лицам.

Правила для подчинения воле чувства всеобщей любви

Правило 16. Жертвуй всеми прочими чувствами любви любви всеобщей, тогда воля будет требовать одного исполнения потребностей любви всеобщей и будет преобладать над нею. Правило 17-е). Жертвуй десятую долю всего того, чем ты можешь располагать, для блага других.

Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчастнее и тебе удобнее помогать.

Правила для подчинения воле чувства любви отечества любви известных лиц

18) Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом порядке, в котором они здесь стоят.

Правила для развития воли разумной

Правило 19) определяй с начала дня все твои умственные занятия. 20) Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет. 21) Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя. 22) Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум.

Какое бы ты ни начал умственное занятие, не бросай его до тех пор, покуда ты его не кончишь. Так как это правило может повести к большим злоупотреблениям, то здесь нужно его ограничить следующим правилом: имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты, жертвуя низшие цели высшим.

Правила для развития памяти

Правило 23) составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть. 24) Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь. 25) Повторяй вечером все то, что узнал в продолжение дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.

Правила для развития деятельности

Деятельность бывает трех родов. Деятельность телесная, чувственная и умственная. Сообразно с этим и правила для развития деятельности разделяются на правила для развития деятельности телесной, чувственной и умственной.

Правила для развития деятельности телесной

Правило 26) Придумывай себе как можно больше занятий. 27) Не имей прислуги. 28) Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один.

Правила для развития деятельности чувственной

Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, дурны, то, следовательно, здесь нам следует только дать правила, по которым могла бы развиваться деятельность чувств, происходящих от любви вообще. Правило 29), относящееся к любви вообще. Чтоб каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь. Правило 30), относящееся к любви к отечеству. Будь полезен, сколько ты можешь, отечеству. 31), относящееся к любви к известным лицам. Старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних. 32), относящееся к любви к родственникам.

Правила для развития деятельности умственной

Правило 32) Не делай châteaux en Espagne[28]. 33) Старайся дать уму как можно больше пищи.

Правила для развития умственных способностей

Мы имеем пять главных умственных способностей. Способность представления, способность памяти, способность сравнения, способность делать выводы из этих сравнений и, наконец, способность приводить выводы эти в порядок.

Правила для развития способности представления

34) Очень полезны для развития этой способности все игры, требующие соображения.

О правилах для развития способности памяти я уже говорил.

Правила для развития способности сравнения

35) Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь. 36) Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с теми мыслями, которые тебе известны. Все отвлеченные мысли оправдывай примерами.

Правила для развития способности делать выводы

36) занимайся математикой. 37) занимайся философией. 38) Всякое философическое сочинение читай с критическими замечаниями.

Правила для развития способности приводить выводы в порядок

39) Изучи систему своего существа. 40) Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания приведи к одному общему выводу. 41) Все выводы сравни между собою, и чтобы ни один вывод не противоречил другому. 42) Пиши сочинения не мелкие, но ученые.

Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких,

или иначе: правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия  
Правило общее: чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих потребностей, тем более она усиливается, и чем менее исполняешь ты ее, тем менее она действует.  
42) Любя всех равно, не исключай и самого себя из этой любви. 43) Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели самого себя.

Правила для развития обдуманности

Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осматривай со стороны его вреда и его пользы. При всяком деянии рассматривай, сколькими способами оно может быть сделано и который из этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него следствия.

О женщинах

Призвание всякого человека, мужчины и женщины, в том, чтобы служить людям. С этим общим положением, я думаю, согласны все небезнравственные люди. Разница между мужчинами и женщинами в исполнении этого назначения только в средствах, которыми они его достигают, т. е. чем они служат людям.

Мужчина служит людям и физической работой – приобретая средства пропитания, и работой умственной – изучением законов природы для побеждения ее, и работой общественной – учреждением форм жизни, установлением отношений между людьми. Средства служения людям для мужчины очень многообразны. Вся деятельность человечества, за исключением деторождения и кормления, составляет поприще этого служения. Женщина же, кроме своей возможности служения людям всеми теми же, как и мужчина, средствами, по строению своему призвана, привлечена к тому служению, которое одно исключено из области служения мужчины.

Служение человечеству само собой разделяется на две части: одно – увеличение блага в существующем человечестве, другое – продолжение самого человечества. К первому призваны преимущественно мужчины, так как они лишены возможности служить второму. Ко второму призваны преимущественно женщины, так как они исключительно способны к нему. Этого различия нельзя, не должно и грешно (т. е. ошибочно) не помнить и стирать. Из этого различия вытекают обязанности тех и других – обязанности, не выдуманные людьми, но лежащие в природе вещей. Из этого же различия вытекает оценка добродетели и порока женщины и мужчины, – оценка, существовавшая во все века и теперь существующая, и никогда не перестающая существовать, пока в людях есть и будет разум.

Всегда было и будет то, что мужчина, проводящий большую часть своей жизни в свойственном ему многообразном физическом и умственном, общественном труде, и женщина, проводящая большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления и возвращения детей, будут одинаково чувствовать, что они делают то, что должно, и, делая эти дела, будут одинаково возбуждать уважение и любовь других людей, потому что оба исполняют то, что предназначено им по их природе.



Призвание мужчины многообразнее и шире, призвание женщины однообразнее и уже, но зато глубже, и потому всегда было и будет то, что мужчина, имеющий сотни обязанностей, изменив одной, десяти из них, остается недурным, невредным человеком, исполнившим все-таки часть своего призвания. Женщина же, имеющая малое число обязанностей, изменив одной из них, тотчас же нравственно падает ниже мужчины, изменившего десяти из сотни своих обязанностей. Таково всегда было общее мнение, и таково оно всегда будет, потому что такова сущность дела.

Мужчина для исполнения воли Бога должен служить Ему и в области физического труда, и мысли, и нравственности: он всеми этими делами может исполнить свое назначение. Для женщины средства служения Богу суть преимущественно и почти исключительно (потому что, кроме нее, никто не может этого сделать) дети. Только через произведения свои призван служить Богу и людям мужчина, только через детей своих призвана служить женщина.

И потому любовь к своим детям, вложенная в женщину, исключительная любовь, с которой совершенно напрасно бороться рассудочно, всегда будет и должна быть свойственна женщине-матери. Любовь эта к ребенку в младенчестве есть вовсе не эгоизм, а это есть любовь работника к той работе, которую он делает, в то время как она у него в руках. Отнимите эту любовь к предмету своей работы – и невозможна работа.

То же и с матерью. Мужчина призван служить людям через многообразные работы, и он любит эти работы, пока их делает. Женщина призвана служить людям через своих детей, и она не может не любить этих своих детей, пока она их родит, кормит, воспитывает.

По общему призванию – служить Богу и людям – мужчина и женщина совершенно равны, несмотря на различие в форме этого служения. Равенство в том, что одно служение столь же важно, как и другое, что одно немислимо без другого, что одно обуславливает другое и что для действительного служения как мужчине, так и женщине одинаково необходимо знание истины, без которого деятельность как мужчины, так и женщины становится не полезной, но вредной для человечества. Мужчина призван исполнять свой многообразный труд; но труд его тогда только полезен, и его работа – и физическая, и умственная, и общественная – тогда только плодотворна, когда она совершается во имя истины и блага других людей.

То же и с призванием женщины: ее рождение, кормление и возвращение детей будут полезны человечеству только тогда, когда она будет выращивать не просто детей для своей радости, а будущих слуг человечества; когда воспитание этих детей будет совершаться во имя истины и для блага людей, т. е. она будет воспитывать детей так, чтобы они были наилучшими работниками для других людей.

«Ну а те, у которых нет детей, которые не вышли замуж, вдовы?»

Те будут прекрасно делать, если будут участвовать в мужском многообразном труде.

Всякая женщина, отражавшая, если у нее есть силы, успеет заняться этою помощью мужчине в его труде. Помощь женщины в этом труде очень драгоценна; но видеть молодую женщину, готовую к деторождению и занятую мужским трудом, всегда будет жалко. Видеть такую женщину – все равно что видеть драгоценный чернозем, засыпанный щебнем для плаца или гулянья. Еще жальче: потому что земля эта могла бы родить только хлеб, а женщина могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет, – человека. И только она одна может это делать.

#### Диалог

Эту запись своего разговора с женой в ночь с 28 на 29 июля 1898 года Толстой намеревался послать Т. А. Кузминской, поэтому запись сделана в форме письма к ней. Однако Толстой не отослал ее, и запись осталась в его бумагах. Разговор шел об отношениях С. А. Толстой с С. И. Танеевым.

Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более, чем последняя ее поездка. Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за восемнадцать верст для осмотра имения Маши. Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около сорока верст

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет.

Под влиянием твоих разговоров, усталости и хорошего, доброго расположения духа я лег спать с намерением не говорить ничего о том, что было, и в надежде, что все это, как ты утешала меня, само собой сойдет на нет. Легли. Помолчали. Она начала говорить.

О. Ты поедешь в Пирогово, будешь меня бранить Сереже?

Я. Я ни с кем не говорил, ни с Таней, дочерью.

О. Но с Таней, сестрой, говорил?

Я. Да.

О. Что же она говорила?

Я. То же, что тебе... мне тебя защищала, тебе, вероятно, за меня говорила.

О. Да, она ужасно строга была ко мне. Слишком строга. Я не заслуживаю.

Я. Пожалуйста, не будем говорить, уляжется, успокоится и, бог даст, уничтожится.

О. Не могу я не говорить. Мне слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он заедет, начнется опять. Он не говорил ничего, но, может быть, заедет.

Известие, что он приедет – как всегда бывало – может быть, а в действительности наверное – было мне очень тяжело. Только что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение. Я молчал, но не мог уж заснуть и не выдержал, сказал:

Я. Только что надеялся успокоиться, как опять ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию.

О. Что же мне делать? Это может быть, он сказал Тане. Я не звала. Может быть, он заедет.

Я. Заедет он или не заедет, неважно, даже твоя поездка не важна, важно, как я говорил тебе, два года назад говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем.

О. Ну, как же быть мне теперь?

Я. Покаяться в душе в своем чувстве.

О. Не умею каяться и не понимаю, что это значит.

Я. Это значит обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурное.

О. Я никакого чувства не испытываю, ни хорошего, ни дурного.

Я. Это неправда.

О. Чувство это так неважно, ничтожно.

Я. Все чувства, а потому и самое ничтожное, всегда или хорошие, или дурные в наших глазах, и потому и тебе надо решить, хорошее ли это было чувство, или дурное.

О. Нечего решать, это чувство такое неважное, что оно не может быть дурным. Да и нет в нем ничего дурного.

Я. Нет, исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине – дурное чувство.

О. У меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку.

Я. Да ведь человек этот мужчина.

О. Он для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного, а есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства.

Я. Зачем говорить неправду?

О. Но хорошо. Это было. Я сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя. Но теперь это кончено, я сделаю все, чтобы не огорчать тебя.

Я. Ты не можешь этого сделать потому, что все дело не в том, что ты сделаешь – заедешь, примешь, не примешь, дело все в твоём отношении к твоему чувству. Ты должна решить сама с собой, хорошее ли это, или дурное чувство.

О. Да нет никакого.

Я. Это неправда. И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь скрыть это чувство, чтобы удержать его. А до тех пор, пока ты не решишь, хорошее это чувство или дурное, и не признаешь, что оно дурное, ты будешь не в состоянии не делать мне больно. Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, то есть видеться, а желая, ты невольно будешь делать то, чтобы видеться. Если ты будешь избегать случаев видеться, то тебе будет тоска, тяжело. Стало быть, все дело в том, чтобы решить, какое это чувство, дурное или хорошее.

О. Дурно я сделала, что сделала тебе больно, и в этом раскаиваюсь.

Я. Вот это-то и дурно, что ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит.

О. Я знаю, что я никого больше тебя не любила и не люблю. Я бы желала знать, как ты понимаешь мое чувство к тебе. Как же бы я могла любить тебя, если бы любила другого?

Я. Твой разлад от этого-то и происходит, что ты не уяснила себе значения своих чувств. Пьяница или игрок очень любит жену, а не может удержаться от игры и вина и никогда не удержится, пока не решит в своей душе, хорошее ли чувство его любовь к игре и к вину. Только когда это решено, возможно избавление.

О. Все одно и то же.

Я. Да не могу я ничего сказать другого, когда ясно, как день, что все дело только в этом.

О. Ничего дурного я не делала.

Так с разными вариациями разговор приходил все к тому же. Она старалась показать, что чувство это очень неважное, и потому не может быть осуждаемо, и нет причин бороться с ним. Я все время возвращался к тому, что если в душе чувство признается хорошим, то от него нет избавления и нет избавления от тех сотен тысяч мелочных поступков, которые вытекают из этого чувства и поддерживают его.

О. Ну что же будет, если я признаю чувство дурным?

Я. То, что ты будешь бороться с ним, будешь избегать всего того, что поддерживает его. Будешь уничтожать все то, что было связано с ним.

О. Да это все к тому, чтобы лишить меня единственного моего утешения – музыки. Я в ужасном cercle vicieux. У меня тоска. Тоску эту я разгоняю только игрой на фортепьяно. Если я играю, ты говоришь, что это все в связи с моим чувством, если я не играю, я тоскую, и ты говоришь, что причиной мое чувство.

Я. Я одно говорю: надо решить, хорошее это или дурное чувство. Без этого наши

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
мучения не кончатся.

О. Нет никакого чувства, нечего решать.

Я. Пока ты так будешь говорить, нет выхода. Но, впрочем, если у человека нет того нравственного суда, который указывает ему, что хорошо, что дурно, человек, как слепой, разобрать цвета не может. У тебя нет этого нравственного судьи, и потому не будем говорить – два часа.

Долгое молчание.

О. Ну вот, я спрашиваю себя совершенно искренно: какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как то, чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый.

Я. Ну ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь, что у тебя исключительное чувство к этому человеку. Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение раз в месяц приятно, то приятнее еще раз в неделю и каждый день. Ты невольно этим самым говоришь про свое исключительное чувство. И без того, чтобы ты не решила вопрос о том, хорошо ли это, или дурно, ничего измениться не может.

О. Ах, все одно и одно. Мученье. Другие изменяют мужьям, столько их не мучают, как меня. За что? За то, что я полюбила музыку. Можно упрекать за поступки, а не за чувства. Мы в них не властны. А поступков никаких нет.

Я. Как нет? А поездка в Петербург, и туда и сюда, и вся эта музыка?

О. Да что ж особенного в моей жизни?

Я. Как что ж особенного? Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой.

Слова эти почему-то ужасно раздражают ее.

О. Ты хочешь измучить меня и лишить всего. Это такая жестокость.

Она приходит в полуистерическое состояние. Я молчу довольно долго, потом вспоминаю о боге. Молюсь и думаю себе: «Она не может отречься от своего чувства, не может разумом влиять на чувства. У нее, как у всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве... Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путем. Надо сказать ей это, думаю я, и с жалостью к ней и желанием успокоить ее, говорю ей это, – то, что я, может быть, ошибаюсь, так по-своему ставя вопрос, что она, может быть, придет к тому же своим путем и что я надеюсь на это. Но в это время в ней раздражение дошло до высшей степени.

О. Ты измучил меня, долбишь два часа одной и той же фразой: исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное. Это ужасно. Ты своей жестокостью доведешь бог знает до чего.

Я. Да я молился и желал помочь тебе...

О. Все это ложь, все фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь.

Я. Что с тобой? Я именно хотел доброе.

О. Нет в тебе доброго. Ты злой, ты зверь. И буду любить добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь.

Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие речи: и угрозы, и убийство себя, и проклятия всем, и мне и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю «Воскресение» с описанием горничной. И

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: голова треснет, вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее, и вот он, и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я знал, что это всегда помогает, поцеловал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула и спит еще теперь.

Не знаю, как может разрешиться это безумие, не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, которые вызываемы этим чувством, поступки, видеть которые мучительно, и стыдно видеть их мне и детям.

Из дневников

(1851 г.) 8 июня. [Старый Юрт.] Любовь и религия – вот два чувства – чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! – как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это – то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить. Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставляю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастья. Смешно. Забыли взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыли взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе. В папаше нельзя же! Теперь бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье. Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время. А какое пустое и тщеславное создание человек. Когда у меня спрашивают про время, проведенное мною в Казани, я небрежным тоном отвечаю: «Да, для губернского города очень порядочное общество, и я довольно весело провел несколько дней там». Подлец! Все осмеяли люди. Смеются над тем, что с милым рай и в шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда; не только в шалаше, в Крапивне, в Старом Юрте, везде. С милым рай и в шалаше, и это правда, правда, сто раз правда.

11 июня. Встал поздно, разбудил меня Николенька приходом с охоты. Я ищу все какого-то расположения духа, взгляда на вещи, образа жизни, которого я ни найти, ни определить не умею. Хотелось бы мне больше порядка в умственной деятельности, больше самой деятельности, больше вместе с тем свободы и непринужденности. Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера – это любовь к богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.

Как страшно было мне смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я бога принять меня в лоно свое. Я не чувствовал плоти, я был – один дух. Но нет! плотская – мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.

Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как смел я думать, что можно знать пути провидения. Оно источник разума, и разум хочет постигнуть... Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить его. Благодарю его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться; но не умею; хочу постигнуть; но не смею – предаюсь в волю твою! Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!

Утро я провел довольно хорошо, немного ленился, солгал, но безгрешно. Завтра напишу письмо Загоскиной, хотя черновое. Рисовал не тщательно. Вечером любовался облаками. Славные были при заходе солнца облака. Запад краснел, но солнце было еще на расстоянии сажени от горизонта. Над ним вились массивные, серо-пунцовые облака. Они неловко как-то соединялись. Я поговорил с кем-то и оглянулся: по горизонту тянулась серо-красная темная полоса, оканчивавшаяся бесконечно разнообразными фигурами: то склонявшимися одна к другой, то расходившимися, с светло-красными концами.

Человек сотворен для уединения – уединения не в фактическом отношении, но в моральном. Есть некоторые чувства, которые поверять никому не надо. Будь они прекрасные, возвышенные чувства, теряешь во мнении того человека, которому их поверяешь, или даже дашь возможность о них догадываться. Поверяя их, человек не сознает их вполне, а только выражает свои стремления. Неизвестность привлекает более всего. Мы живем теперь с братом между такими людьми, с которыми нам нельзя не сознать взаимное превосходство над другими; но мы мало говорим между собой, как будто боимся, сказав одно, дать догадаться о том, что мы хотим от всех скрывать. Мы слишком хорошо знаем друг друга.

Меня поразили три вещи: 1) разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь. Храбр он? Да, так. Все храбры. Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как: храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишаящее сознания опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Примеры первой – человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица. 2) Офицер, служащий для выгод. 3) В турецкой кампании бросились в руки неприятеля, чтобы только напиться, русские солдаты. Здесь только пример с нашей стороны храбрости физической и потому все.

1851. 29 ноября. Тифлис. Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою.

В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина 28, потом 2-й – Сабулов, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх. [...] Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство.

[...] Живопись действует на способность воображать природу, и ее область – пространство. Музыка действует на способность воображать ваши чувства. И ее область – гармония и время. Поэзия действует на способность воображать как то, так другое, то есть действительность или отношения наших чувств к природе. Переход от живописи к музыке есть танцы. От музыки к поэзии – песни. Отчего музыку древние называли подражательною? Отчего к каждому переходу не присоединить какое-нибудь чувство? Отчего музыка действует на нас, как воспоминание? Отчего, смотря по возрасту и воспитанию, вкусы к музыке различны? Почему живопись есть подражание природе, очень ясно (хотя оно не полно); но почему музыка есть подражание нашим чувствам и какое сродство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством? Нельзя сказать. Природа подлежит нашим пяти чувствам, а чувства, как: отчаяние, любовь, восторг и т. д. и их оттенки, не только не подлежат нашим пяти чувствам, но даже не подлежат и рассудку. Музыка имеет даже перед поэзией то преимущество, что подражание чувствам музыки полнее подражания поэзии, но не имеет той ясности, которая составляет принадлежность поэзии.

Свобода состоит в отсутствии принуждения делать зло; ежели таким образом понимать свободу, то понятно, что она имеет это качество. Совершенной свободы нет, но более или менее происходит от большей или меньшей власти и искушения в обратном отношении.

Я допускаю власть рока только в том, что не имеет отношения к добру и злу (внутреннему). Никакое положение человека не может заставить быть добрым или злым.

Властью рока я выражаю – чему быть, тому не миновать и – «да будет воля твоя».

Все атомы имеют сферическую форму и обращаются вокруг своей оси. Закон тяготения есть закон – центробежной и центростремительной силы. Чувство осязания происходит от трения обращаемых атомов. Осязание было бы даже тогда, если бы не было давления. Чем меньше давление, тем яснее чувство осязания.

1863 г. 3 января. [Москва.] Только нынче стала немного отпускать зубная боль. Она говорит о ревности: уважать надо, – уверенность, что это фразы, а все боишься и боишься. Эпический род мне становится один естественен. Присутствие Поливанова неприятно мне: надо его перенести наилучше. Мы одиноки в Москве, надо сделать авансы; а вдруг будет горе и хуже, а теперь так хорошо. Она целовала меня, пока я писал. Я чувствовал, что было не шутя, оглянулся – она плачет. Татьяна надоедает. Меня удивляет, как мне никого не нужно, и одиночество поражает меня, но не стесняет; а ей все кажется, что даром проходит время.

5 января. Счастье семейное поглощает меня всего, а ничего не делать нельзя. За мной стоит журнал. Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его. «Поликушка» мне не нравится. Я читал его у Берсов.

Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу – она смотрит на меня и любит. И никто – главное, я – не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, – и остановится, – отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока, у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда...

24 марта. Я ее все больше и больше люблю. Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою.

28 октября 1879. Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные – Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся – хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. [...]

7 февраля – утро 11 часов. Москва. 95.

Думал за это время:

Сумасшествие это эгоизм, или наоборот: эгоизм, т. е. жизнь для себя, для одной своей личности, есть сумасшествие. (Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но еще не знаю, правда ли.) Человек так сотворен, что он не может жить один, так же как не могут жить одни пчелы; в него вложена потребность служения другим. Если вложена, т. е. естественна ему потребность служения, то вложена и естественна потребность быть обслуживаемым, *être servi*. Если человек лишится второй, т. е. потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший, паралич мозга, меланхолия; если он лишится первой потребности – служить другим, он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествий, из которых самый характерный мания величия.

Самое большое количество сумасшедших это сумасшедшие второго рода – те, которые лишились потребности служить другим – сумасшествие эгоизма, как я это и сказал сначала. [...] Такие сумасшедшие: все составители богатств, честолюбцы гражданские и военные. [...]

Нынче 12 марта 95. Москва. Так много перечувствовано, передумано, пережито за это время, что не знаю, что писать. Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие.

Соня не может так смотреть на это. Для нее боль, почти физическая – разрыва, скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовностью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством, все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви. Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, *vent* в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, –



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru различно сочетаясь – одни прежде, другие после, – как волны.

Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней. Она еще физически слаба. [...] Таня, бедная и милая, тоже очень слаба. Все мы очень близки друг к другу, как Д. хорошо сказал: как, когда выбыл один листок, скорее и теснее сбиваются остальные. Я чувствую себя очень физически слабым, ничего не могу писать.

[...] За это время думал:

[...] 3) Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело божие: установление царства божия через увеличение любви – больше, чем многие, прожившие полвека и больше.

[...] 6) Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я.

[...] 8) Несколько дней после смерти Ванечки, когда во мне стала ослабевать любовь (то, что дал мне через Ванечкину жизнь и смерть бог, никогда не уничтожится), я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей – представлять их себе такими, какими они были [в] 7 лет. Я могу делать это. И это хорошо.

9) Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.

10) С особенной новой силой понял, что жизнь моя и всех только служение, а не имеет цели в самой себе.

25 апреля 95. Москва. Вчера Соня уехала с приехавшей за ней Таней в Киев. Здоровье ее стало немного лучше – она поднялась, но вся разбита и нравственно все не находит точки опоры. Страшно трагично положение матери: природа вложила в ней прежде всего неудержимую похоть (то же она вложила и в мужчину, но в мужчине это не имеет тех роковых последствий – рождения детей), последствием которой являются дети, к которым вложена еще более сильная любовь и любовь телесная, так как и ношение, и рождение, и кормление, и выхаживание есть дело телесное. Женщина, хорошая женщина полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя, усваивает душевную привычку жить только для них и ими (самый страшный соблазн тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это); проходят года, и эти дети начинают отходить – в жизнь или смерть – первым способом медленно, оплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шею колоду, мешающую жить им, вторым способом – смертью, мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет. Вот что надо бы высказать в романе матери.

За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Евгений Иванович отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит.

5 августа 95. Ясная Поляна.

[...] Был разговор о семейной жизни. Я говорил, что хорошая семейная жизнь возможна только при сознанном, воспитанном в женщинах убеждении в необходимости всегдашнего подчинения мужу, разумеется во всем, кроме вопросов души – религиозных. Я говорил, что это доказывается тем, что так было с тех пор, как мы знали жизнь людей, и тем, что семейная жизнь с детьми есть переезд на утлой лодочке, который возможен только тогда, когда едущие подчиняются одному. И таким одним признавался всегда мужчина, по той причине, что, не нося, не кормя, он может быть лучшим руководителем жены, чем жена мужа.

Но неужели женщина всегда ниже мужчины? Нисколько, как только тот и другая

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
девственны – они равны. Но что же значит то, что теперь жены требуют не только равенства, но главенства? А только то, что семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя много намечается...

7 сентября 1895. Ясная Поляна.

1) Смотрю на веселость, смелость, свободу, царственность молодых людей и еще больше детей. В нас, стариках, наши грехи смирили нас, застлали ту божескую силу, которая вложена в нас. Им же нельзя не быть самоуверенными и свободными, они должны быть такими, потому что носят в себе еще не загаженное жизнью божественное начало – все возможности.

2) Матерьяльный мир подлежит закону борьбы за существование, ему подлежим и мы, как матерьяльные существа. Но, кроме нашего матерьяльного существования, мы сознаем в себе еще и другое, не только независимое от закона борьбы начало, но противоположное ему начало любви. Проявление в нас этого начала есть то, что мы называем свободой воли.

[...] 5) человек обидел тебя, ты рассердился на него и, разумеется, сдержался, не обидел его. И что ж? В сердце у тебя злоба, и ты не можешь относиться к этому человеку добро. Точно как будто дьявол, который стоит всегда у двери твоего сердца, воспользовался тем моментом, когда ты почувствовал к человеку злобу, и, открыв эту дверь, вскочил в твое сердце и сидит в нем хозяином. Вчера испытал это и должен был употребить большие усилия: смирение, ласки к обидевшему, чтобы выкурить из сердца этого мерзавца.

6) Заметил в себе, что я стал добрее с тех пор, как мало изменяю жизнь и подчиняюсь порядкам ложной жизни. И помню, как – когда я изменял свою жизнь, как я был недобр часто. Как все в жизни делается с двух концов, так и это: двинуть сначала жизнь, во имя добра изменив ее, потом утишить свое сердце, установить в себе доброту в новом положении. Потом опять двинуть в себе доброту в новом положении. Потом опять двинуть вперед. Как шаги, перекачиваясь, идешь с ноги на ногу. Многое так – почти все нужно делать с двух концов, любовь и дела.

26 сентября.

...Пока человек не сознает себя, он не знает, живет ли он или нет, и потому не живет. Когда же он сознает себя живущим, он невольно задает себе вопрос: зачем он живет. Задав же себе этот вопрос, он ищет на него ответа, найдя же ответ, он не успокаивается до тех пор, пока не делает того, для чего он живет.

25 октября 95 г.

...Часто меня поражали уверенные, красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импозантнее и звуки и зрелища, тем пустее и ничтожнее.

Нынче 17. 97. Ясная Поляна. Второй день думаю с особенной ясностью вот о чем:

1) Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В это же время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. [...]

2) Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести – именно прелести – зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блеснуть эта звездочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru

3) Еще думал о той иллюзии, которой все подвержены, а особенно люди, деятельность которых отражается на других, иллюзия, состоящая в том, что, привыкнув видеть действия своих поступков на других, этим воздействием на других поверяешь верность своих поступков.

4) Еще думал: для гипнотизации нужна вера в важность того, что внушается (гипнотизация всех художественных обманов). Для веры же нужно невежество и воспитание доверия.

Сегодня поправил предисловие к Карпентеру. Получил телеграмму от Грота. Хочу отправить 10 главу. От Буланже грустное письмо.

[25 ноября.] Жив. Таня уехала. Очень мила – хороша. Я дурно сделал, что говорил с ней про свое положение. Поправлял «Искусство». Довольно хорошо написал письмо Мооду. От Гали хорошее письмо. Думал:

1) Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит. Заметить это можно, если послушать то, что говорит тот жалкий и отвратительный и тщеславный человек, которого вы с великим усилием над собой пожалели: он говорит, что он так хорош, что вы и не могли поступить иначе. То же и когда тебя любят.

2) Раки любят, чтобы их варили живыми. Это не шутка. Как часто слышишь, да и сам говорил или говоришь то же. Человек имеет свойство не видеть страданий, которые он не хочет видеть. А он не хочет видеть страданий, причиняемых им самим. Как часто я слышал про кучеров, которые дожидаются, про поваров, лакеев, мужиков в их работе – «им очень весело». Раки любят, чтоб их варили живыми.

Нынче 27 апреля 1898. Гриневка. Третий день здесь. Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала – грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень ее жалко, и не могу еще помочь. За последнее время в Москве все кончал «Carthago delenda est». Боюсь, что не кончил, и она еще придет ко мне. Хотя порядочно. Здесь ничего не работал. Бедствие голода далеко не так велико, как было в 91 году. Так много лжи во всех делах в высших классах, так все запутано ложью, что никогда нельзя просто ответить ни на какой вопрос: например, есть ли голод? Постараюсь лучше раздать порученные деньги.

Вчера был разговор все о том же. Хороша ли исключительная любовь. Резюме такое: нравственный человек будет смотреть на исключительную любовь – все равно женатый или холостой – как на зло, будет бороться с ней; малонравственный человек будет считать ее добром и будет поощрять ее. Совсем безнравственный человек не понимает даже и это и смеется над ней.

Нынче 13 октября 99. Ясная Поляна. Все не вполне здоров – так и надо. Но это не мешает жить, думать и двигаться к назначенному пределу. «Воскресение» плохо двигается, послал четыре главы, кажется, нецензурные, но, по крайней мере, кажется, остановился на одном, и больше важных перемен делать не буду. Не переставая, думаю о брате Сереже, но от погоды и нездоровья не могу собраться поехать. Таня, кажется, окончательно решила выходить. Соня была в Москве и нынче едет опять. У меня нынче какой-то умственный праздник, и не нынче, а все последние дни: в «Воскресение» вдумал хорошие сцены. Об отдельности, представляющейся нам материей в пространстве и движении во времени, все чаще и чаще и яснее и яснее думаю. Еще получил брошюры Westrup'a из Америки о деньгах, которые поразили, мне уяснив все неясное в финансовых вопросах и сведя все, как и должно было быть, к насилию правительств.

Если успею – запишу. Еще важная радостная мысль, хотя и старая, но которая мне пришла как новая, и радует меня очень, а именно:

1) Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература, но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворение полового желания, страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода духовных и физических пороков супруга, которые надо

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru нести, – злоба, глупость, лживость, тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие, разврат – все пороки, которые нести особенно трудно не в себе, в другом, а страдать от них, как от своих, и такие же пороки физические, безобразия, нечистоплотность, вонь, раны, сумасшествие... и пр., которые еще труднее переносить не в себе. Все это, или хоть что-нибудь из этого, всегда будет, и нести приходится всякому тяжелое. То же, что должно выкупать: забота, удовлетворение, помощь, все это принимается как должное; все же недостатки, как не должное, и от них страдают тем больше, чем больше ожидалось счастья от брака.

Главная причина этих страданий та, что ожидается то, чего не бывает, а не ожидается того, что всегда бывает. И потому избавление от этих страданий только в том, чтобы не ждать радостей, а ждать дурного, готовясь переносить его. Если ждешь всего того, что описано в начале 1001 ночи, ждешь пьянства, вони, отвратительных болезней, то упрямство, неправдивость, пьянство даже можно не то что простить, а не страдать и радоваться, что нет того, что могло бы быть, что описано в 1001 ночи, нет сумасшествия, рака и т. п. И тогда все доброе ценится.

Не в этом ли и главное средство для счастья вообще? Не оттого ли люди так часто несчастны, особенно богатые? Вместо того, чтобы сознать себя в положении раба, который должен трудиться для себя и для других и трудиться так, как этого хочет хозяин, люди вообразят себе, что их ждут всякого рода наслаждения и что все их дело в том, чтобы пользоваться ими. Как же при этом не быть несчастным? Все тогда, и труд, и препятствия, и болезни, необходимые условия жизни, представляются неожиданными страшными бедствиями. Бедные поэтому менее бывают несчастны: они вперед знают, что им предстоит труд, борьба, препятствия, и потому ценят все, что дает им радость. Богатые же, ожидая только радостей, во всех препятствиях видят бедствия и не замечают и не ценят тех благ, которыми пользуются. Блаженны нищие, ибо они утешатся, голодные – они насытятся, и горе вам, богатые...

1886. 19 июня. Мир живет. В мире жизнь. Жизнь – тайна для всех людей. Одни называют ее бог, другие – сила. Все равно – она тайна. Жизнь разлита во всем. Все живет вместе, и все живет – отдельно: живет человек, живет червь. (Эту отдельную жизнь наука называет организмами.) Это глупое слово – неясное. То, что они называют организмом, есть сила жизни, обособленная местом и временем и неразумно заявляющая требования жизни общей для своей обособленности. Это обособление жизни само в себе носит противоречие. Оно исключает все другое. Все другое исключает его. Оно, кроме того, исключает самого себя. Своим стремлением к жизни оно уничтожает себя: всякий шаг, всякий акт жизни есть умирание.

Противоречие это было бы неразрешимо, если бы в мире не было разума. Но разум есть в человеке. Он-то и уничтожает это противоречие. Один человек съел бы другого, если бы у него не было разума, показывающего ему, что его благо: ему лучше быть в любви с этим другим человеком и вместе с ним убивать зверей для пищи. Этот же разум показал ему, что ему лучше не убивать зверей, а быть в любви с ними и питаться их произведениями. Этот же разум покажет и дальше в этом направлении и уничтожит противоречие эгоизма. [...]

Задача человека в этой жизни отречься от всего противоречивого в самом себе, т. е. личного, эгоистического, для возможности служения разуму, для уничтожения внутреннего противоречия жизни, в чем одном он находит полное удовлетворение, безопасность, бесстрашие и спокойствие перед смертью. Если он не исполняет этой задачи, он остается в внутреннем противоречии личной жизни и уничтожает себя, как уничтожает себя всякое противоречие. [...]

1886. 28 августа. Главное заблуждение жизни людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждениям и отвращение от страданий. И человек один, без руководства, отдается этому руководителю, – он ищет наслаждений и избегает страданий и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была, то – что за нелепость: цель – наслаждения, и их нет и не может быть. А если бы они и были, – конец жизни, смерть, всегда сопряженная с страданием. Если бы моряк решил бы, что цель его – миновать подъемы волн, – куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждений и страданий. Она достигается, проходя через них.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
Наслаждения, страдания это дыхание жизни: вдыхание и выдыхание, пища и отдача  
ее. Положить свою цель в наслаждении и избегании страданий – это значит потерять  
путь, пересекающий их.

Цель жизни общая или духовная. Единение. Только.

Не знаю дальше, устал.

19 марта 1900. Москва. Мало, не успешно работаю, хотя здоров. В мыслях же идет  
работа хорошая. Читал психологию, и с большой пользой, хотя и не для той цели,  
для которой читаю.

Приехала Таня – довольна, счастлива. И я рад за нее и с ней. Жалею, что Сережа  
по взглядам чужд, от легкомыслия и самоуверенности, хотя добр, и оттого нет с  
ним того полного сближения, какое есть с Машей и Таней. [...]

При каждом бое часов вспоминать:

[...] 3) что лучше ничего не делать, чем делать ничего – ложь.

4) что присутствие всякого человека есть призыв к высшей осторожной и важной  
деятельности.

5) что униженным, смиренным быть выгодно, а восхваляемым, гордым – обратное.

6) что теперешняя минута никогда не повторится.

7) что ничего неприятного тебе быть не может – если неприятно, то значит, ты  
спутался.

8) что всякое дурное, даже пустое дело вредно тем еще, что накатывает дорогу  
привычке, и всякое доброе дело – наоборот.

9) Не осуждай.

10) Обсуживая поступки других людей, вспоминай свои.

Нынче 26. Все эти дни, хотя и здоров, не писал. Начал о безверии. Переменил  
кое-что в драме, и к лучшему, но ничто не привлекает к работе, хотя и то и  
другое нравится.

Попробую записать.

1) Тем нехороша умственная работа, что, пока не влечет к ней, испытываешь  
праздность. А за работу физическую – сапоги, не хочется браться – и потому, что  
тяжело, и потому, что покажется ненатуральным. Думал, что если не можешь  
работать ни умственно, ни телесно, то все силы, все внимание употребляй на то,  
чтобы быть любовным. Это работа и высшая и всегда возможная, даже в одиночестве:  
думать о людях с любовью.

2) Есть люди, одаренные в сильной степени нравственным и художественным  
чувством, и есть люди, почти лишенные его. Первые как бы сразу берут и знают  
интеграл. А вторые делают сложные вычисления, не приводящие их к окончательным  
выводам. Точно как будто первые проделали все вычисления где-то прежде, а теперь  
пользуются результатами.

[25 июня.] Вчера 24 июня 93. Ясная Поляна. Думал:

1) Представил себе людей, для полноты мужчину и женщину – мужа [и] жену, брата  
[и] сестру, отца [и] дочь, мать [и] сына – богатого класса, которые живо поняли  
грех жизни роскошной и праздной среди нищеты и задавленности трудом народа и  
ушли из города, отдали кому-нибудь, так или иначе избавились от своего излишка,  
оставили себе в бумагах, скажем, 150 р. в год на двоих, даже ничего не оставили,  
а зарабатывают это каким-либо мастерством – положим, рисованием на фарфоре,  
переводы хороших книг, и живут в деревне, в середине русской деревни, наняв или

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru купив себе избу и своими руками обрабатывая свой огород, сад, ходят за пчелами, и вместе с тем подавая помощь сельчанам медицинскую, насколько они знают, и образовательную – учат детей, пишут письма, прошения и т. п. Казалось бы, чего лучше такой жизни. Но жизнь эта будет адом и сделается адом, если люди эти не будут лицемерить, лгать, если они будут искренни.

Ведь если люди эти отказались от тех выгод и радостей, украшений жизни, которые им давали и город и деньги, то сделали они это только потому, что они признают людей братьями, равными перед отцом – неравными по способностям, достоинствам, если хотите, но равными в своих правах на жизнь и все то, что она может дать им. Если возможно сомнение о равенстве людей, когда мы их рассматриваем взрослыми, с отдельным прошедшим каждого, то сомнения этого уже не может быть, когда мы видим детей. Почему этот ребенок будет иметь все заботы, всю помощь знания для своего физического и умственного развития, а этот прелестный ребенок, с теми же и еще лучшими задатками, сделается рахитиком, вырожденным, полукарликом от недостатка молока и останется безграмотным, диким, связанным суевериями человеком, только грубой рабочей силой? Ведь если люди эти уехали из города и поселились жить так, как они живут в деревне, то только потому, что они не на словах, но на деле верят в братство людей и хотя бы не осуществили, то осуществляют его в своей жизни. И эта-то попытка осуществления должна, если только они искренни, должна привести их в ужасное, безвыходное положение. С своими с детства приобретенными привычками порядка, удобства, главное, чистоты, они, переехав в деревню и наняв или купив избу, очистили ее от насекомых, может быть, даже сами оклеили ее бумажками, привезли остатки мебели, не роскошной, а нужной: железную кровать, шкаф, письменный столик. И вот они живут. Сначала народ дичится их: ожидает, как и от всех богатых, насилием ограждения своих преимуществ, и потому не приступает к ним с просьбами и требованиями. Но вот понемногу настроение новых жителей уясняется: сами они вызываются служить безвозмездно, и самые смелые, назойливые люди из народа опытом узнают, что новые люди эти не отказываются и можно поживиться около них. И вот начинаются заявления всякого рода требований, которых становится все больше и больше. Начинается как бы рассыпание и разравнивание возвышающегося над общим уровнем зерна до тех пор, пока не будет возвышения. Начинаются не только выпрашивания, но и естественные требования поделиться тем, что есть лишнего против других. И не только требования, но сами поселившиеся в деревне люди, войдя в близкое общение с народом, чувствуют неизбежную необходимость отдавать свои излишки там, где есть крайняя нужда. Но мало того, что они чувствуют необходимость отдавать свой излишек до тех пор, пока у них останется то, что должно быть у всех, то есть у среднего – определения этого среднего, того, что должно быть у всех, нет никакого, – и они не могут остановиться, потому что всегда вокруг них есть вопиющая нужда, а у них излишек против этой нужды.

Казалось бы, нужно удержать себе стакан молока, но у Матрены двое детей, грудной, не находящий молока в груди матери, и двухлетний, начинающий сохнуть. Казалось, подушки и одеяло можно бы удержать, чтобы заснуть в привычных условиях после трудового дня, но больной лежит на вшивом кафтане и зябнет ночью, покрываясь дерюжкой. Казалось, можно бы удержать чай, пищу, но ее пришлось отдать странникам, ослабевшим и старым. Казалось, можно бы удержать хоть чистоту в доме. Но пришли нищие мальчишки, и их оставили ночевать, и они напустили вшей, которых они только что с трудом вычесали, придя от больного.

Нельзя остановиться, и где остановиться? Только те, которые не знают совсем того чувства сознания братства людей, вследствие которого эти люди приехали в деревню, или которые так привыкли лгать, что и не замечают разницу лжи от истины, скажут, что есть предел, на котором можно и должно остановиться. В том-то и дело, что предела этого нет, что то чувство, во имя которого делается это дело, таково, что предела ему нет, что если есть ему предел, то это значит только то, что этого чувства совсем не было, а было одно лицемерие.

Продолжаю себе представлять этих людей. Они целый день работали, вернулись домой. Кровати у них уже нет, подушки нет, они спят на соломе, которую достали, и вот, поев хлеба, легли спать. Осень, идет дождь с снегом. К ним стучатся. Могут ли не отпереть? Входит человек, мокрый и в жару. Что делать? Пустить ли его на сухую солому? Сухой больше нет. И вот приходится или прогнать больного и положить его мокрого на полу, или отдать свою солому и самому, потому что надо где-нибудь спать, лечь с ним. Но и этого мало: приходит человек, которого вы знаете за пьяницу и развратника, которому вы несколько раз помогали и который всякий раз пропивал то, что вы ему давали, приходит теперь с дрожащими челюстями

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru) и просит дать ему 3 р., которые он украл и пропил и которые, если он не отдаст, его посадят в тюрьму. Вы говорите, что у вас только и есть 4 р. и они необходимы вам завтра для уплаты. Тогда пришедший говорит: «Да, это, значит, все только разговоры, а когда дело до дела, то вы такие же, как и все: пускай погибает тот, кого мы на словах считали братом, только бы мы были целы».

Как тут поступить? Что сделать? Положить лихорадочного больного на сыром полу, а самим лечь на сухое, еще хуже не заснешь. Положить его на свою постель и лечь с ним: заразиться и вшами и тифом. Дать просящему последние 3 рубля – значит остаться завтра без хлеба. Не дать, значит, как он и говорит: отречься от того, во имя чего живешь. Если можно остановиться здесь, то почему не остановиться было раньше. Почему было помогать людям? Зачем отдавать состояние, уходить из города? Где предел? Если есть предел тому делу, которое ты делаешь, то все дело не имеет смысла, или имеет только один ужасный смысл лицемерия.

Как тут быть? Что делать? Не остановиться, значит, погубить свою жизнь, завшиветь, зачахнуть, умереть, и без пользы как будто. Остановиться, значит, отречься от всего того, во имя чего делаешь то, что делаешь, во имя чего делал что-либо доброе. И отречься нельзя, потому что ведь это не выдумано мною или Христом, что мы братья и должны служить друг другу: ведь это так. И нельзя вырвать этого сознания из сердца человека, когда оно вошло в него. Как же быть? Нет ли еще какого выхода? И вот представим себе, что люди эти, испугавшись того положения, в которое их ставила их необходимость жертвы, приводящей к неизбежной смерти, решили, что их положение происходит оттого, что средства, с которыми они пришли на помощь народу, слишком малы и что этого не было бы и они принесли бы большую пользу, если бы у них было много денег.

И вот представим себе, что люди эти нашли источники помощи, собрали большие, огромные суммы денег и стали помогать. И не прошло бы недели, как случилось бы то же самое. Очень скоро все средства, как велики бы они ни были, разлились бы в углубления, которые образовала бедность, и положение осталось бы то же.

Но, может быть, есть еще третий выход. И есть люди, которые говорят, что он есть и состоит в том, чтобы содействовать просвещению людей, и тогда уничтожится это неравенство. Но выход этот слишком очевидно лицемерный. Нельзя просвещать население, которое всякую минуту находится на краю гибели от голода, а главное, неискренности людей, проповедующих этот выход, видна уже потому, что не может человек, стремящийся к установлению равенства хотя бы через науку, поддерживать это неравенство всей своей жизнью. Но есть еще четвертый выход, тот, чтобы содействовать уничтожению тех причин, которые производят неравенство, содействовать уничтожению насилия, производящему его. И выход этот не может не прийти в голову тем искренним людям, которые будут пытаться в жизни своей осуществлять свое сознание братства людей.

«Если мы не можем жить здесь, среди этих людей, в деревне, – должны будут сказать себе те люди, которых я представляю себе, – если мы поставлены в то ужасное положение, что мы неизбежно должны зачахнуть, завшиветь и умереть медленной смертью или отказаться от единственной нравственной основы нашей жизни, то это происходит оттого, что у одних скопление богатств, у других нищета; неравенство же это происходит от насилия, и потому, так как основа всего – это насилие, то надо бороться против него». Только уничтожение этого насилия и вытекающего из него рабства может сделать возможным такое служение людям, при котором не было бы неизбежности жертвы всей своей жизнью.

Но как уничтожить это насилие? Где оно? Оно в солдате, в полицейском, в старосте, в замке, которым запирают мою дверь. Как же мне бороться с ним? Где, в чем? И вот тут-то есть люди, все живущие насилием, и борющиеся с насилием, и насилием же борющиеся с ним. Но для человека искреннего это невозможно. Насилием бороться с насилием, значит, ставить новое насилие на место старого. Помогать просвещению, основанному на насилии, значит, делать то же самое. Собрать деньги, приобретенные насилием, и употреблять их на помощь людям, обделенных насилием, значит, насилием лечить раны, произведенные насилием. Даже в том случае, который я представлял себе: не пустить больного к себе и на свою постель и не дать 3 рубля, потому что я силою могу удержать их, есть тоже насилие. И потому борьба с насилием не исключает необходимости в нашем обществе человеку, желающему жить по-братски, отдать свою жизнь, завшиветь и умереть, но при этом борясь с насилием: борясь проповедью ненасилия, обличением насилия и, главное, примером ненасилия и жертвы.

Как ни страшно и ни трудно положение человека, живущего христианской жизнью среди жизни насилия, ему нет другого выхода, как борьба и жертва – жертва до конца. Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшивевших, заморенных миллионы людей с перекормленными, в кружевах, другими людьми, и, чтобы заполнить ее, нужны жертвы, а не то лицемерие, которым мы теперь стараемся скрыть от себя глубину этой пропасти.

Человек может не найти в себе сил броситься в эту пропасть, но миновать ее нельзя ни одному человеку, ищущему жизни. Можно не идти в нее, но так и знать и говорить, а не обманывать себя, не лицемерить.

Да и нет, совсем не так страшна эта пучина. И если страшна, то страшнее те ужасы, которые предстоят нам на пути мирской жизни.

30 августа 1900. Ясная Поляна. 72 года. Все эти дни ничего не могу работать. Нет охоты. Думается кое-что хорошо – слава богу и благодарение – добро. [...]

Любовь – это стремление к благу, которое до тех пор, пока мы признаем смысл в своей отдельной жизни, признается за стремление к своему личному благу, но есть сама сущность жизни, которая стремится к благу всего. Разум – это уяснение средств достижения блага, – пока жизнь в личности; достижения блага личности, когда жизнь во всеобщем благе, в достижении этого всеобщего блага.

Как-то спросил себя: верю ли я, точно ли верю в то, что смысл жизни в исполнении воли бога, воля же в увеличении любви (согласия) в себе и в мире и что этим увеличением, соединением в одно любимого я готовлю себе будущую жизнь? И невольно ответил, что не верю так в этой определенной форме. Во что же я верю? спросил я. И искренне ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом. [...]

[28 октября]. Нынче 27 октября 1900. Кочеты. Я у Тани уже десять дней и не писал ни дневника, ничего, хотя здоровье хорошо. Нынче не 27, а 28.

[...] думал:

1) Жизнь есть постоянное творчество, то есть образование новых высших форм. Когда это образование на наш взгляд останавливается или даже идет назад, то есть разрушаются существующие формы, то это значит только то, что образуется новая, невидимая нам форма. Мы видим то, что вне нас, но не видим того, что в нас, только чувствуем это (если не потеряли сознания и не признаем видимого внешнего за всю нашу жизнь). Гусеница видит свое засыхание, но не видит бабочки, которая из нее вылетит.

2) Память уничтожает время: сводит во единое то, что происходит как будто врозь. [...]

19 января 1901. Москва. Все это время был нездоров и слаб. В выдавшиеся хорошие дни написал длинное письмо к Серебренникову в Нижний. Душевное состояние довольно хорошо, если бы только поменьше празднословия.

За это время записано:

1) Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами (то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека – который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – все различие людей.

Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами; это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами, – это звери. Есть люди, живущие только своими мыслями, – это мудрецы, пророки; есть – живущие только чужими мыслями, – это ученые глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств – вся сложная



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
музыка характеров.

[...] 5) Мужчина должен подняться до целомудрия женщины, а не женщина, как это происходит теперь, спуститься до распущенности мужчины.

[...] 8) Помочь нужде других можно только жертвой. Жертва всегда тиха, легка и радостна. Люди же желают помогать, не жертвуя – через других. И для этого всегда нужен шум и усилия, и даже страдания. И люди, пытающиеся помогать так, всегда и хвастаются и жалуются. [...]

16 июля. Ясная Поляна. 1901. Больше месяца не писал. Был тяжело болен с 27 июня, хотя и перед этим недели две было нехорошо. Болезнь была сплошной духовный праздник: и усиленная духовность, и спокойствие при приближении к смерти, и выражения любви со всех сторон...

Кончил «Единственное средство». Не особенно хорошо, слабо.

Записываю то, что давно записано.

[...] 3) Для того чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше – смертью.

[...] 5) Страшная непобедимая сила в мирских делах – жестокость, непризнание обязательности своих обещаний и слов и наглая ложь.

6) Китайцы говорят: мудрость в том, чтобы знать, что ты знаешь то, что знаешь, – и знаешь, что не знаешь, чего не знаешь; я прибавляю к этому: еще большая мудрость знать, что нужно знать и чего можно не знать и что знать прежде и что после.

[...] 9) Женщин узнают только мужья. Только муж видит их за кулисами. От этого Лессинг и говорил, что все мужья говорят: одна была дурная женщина, и та моя жена. Перед другими же они так искусно притворяются, что никто не видит их, какие они в действительности, в особенности пока они молоды.

10) Главная способность женщин это – угадыванье, кому какая роль нравится, и играть ту роль, которая нравится.

11) Материнство – их настоящая жизнь и великое дело, а они воображают, что материнство мешает им жить, то есть притворяться, по вкусу избранных мужчин. [...]

11 декабрь 1902.

1) Мы знаем, что без физических усилий мы ничего не достигнем. Почему же думать, что в области духовной можно достигнуть чего-либо без усилия.

2) Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставить себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира. [...]

26 мая 1903. Ясная Поляна. Здоровье недурно. Записал кое-что в книжечке. Здесь запишу следующее: 1) Здешняя жизнь не иллюзия и не вся жизнь, а одно из проявлений, вечных проявлений вечной жизни.

Нынче 24 ноября 1903. Ясная Поляна. Все копаюсь с предисловиями и к Шекспиру и к Гаррисону. Почти кончил. Здоровье хорошо, но умственно не боек. Сейчас думал, кажется мне, что очень важное, а именно:

1) Мы знаем в себе две жизни: жизнь духовную, познаваемую нами внутренним сознанием, и жизнь телесную, познаваемую нами внешним наблюдением.

Обыкновенно люди (к которым я принадлежу), признающие основой жизни жизнь духовную, отрицают реальность, нужность, важность изучения жизни телесной,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru очевидно, не могущего привести ни к каким окончательным результатам. Точно так же и люди, признающие только жизнь телесную, отрицают совершенно жизнь духовную и всякие основанные на ней выводы, отрицают, как они говорят, метафизику. Мне же теперь совершенно ясно, что оба не правы, и оба знания: матерьялистическое и метафизическое – имеют свое великое значение, только бы не желать делать несоответствующие выводы из того или другого знания. Из матерьялистического знания, основанного на наблюдении внешних явлений, можно выводить научные данные, то есть обобщения явлений, но нельзя выводить никаких руководств для жизни людей, как это часто пытались делать матерьялисты, – дарвинисты, например. Из метафизических знаний, основанных на внутреннем сознании, можно и должно выводить законы жизни человеческой, – как? зачем? жить: то самое, что делают все религиозные учения, но нельзя выводить, как это пытались многие, законы явлений и обобщения их. Каждый из этих двух родов знания имеет свое назначение и свое поле деятельности. [...]

О любви

1. Любить в себе можно только Того, Кто один во всех. Любить же Того, Кто один во всех, значит любить Бога.

2. Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Мф. гл. 22, ст. 36–40

3. Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

4. Как будто бы Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

5. Людям кажется, что они заботой о себе живы, а живы они одною любовью. Если бы не было любви в людях, не вырос бы ни один ребенок, не остался бы жив ни один человек.

6. Люди живы любовью; любовь к себе – начало смерти, любовь к Богу и людям – начало жизни.

7. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог – в нем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга, ибо любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог – в нем.

1-е Послание Иоанна, из гл. 4

8. Если человек не может простить брата, он не любит его. Истинная любовь бесконечна, и нет количества тех оскорблений, которые она не простила бы, если она истинная любовь.

9. Любить того, кто нам приятен, не значит любить. Истинная любовь только та, когда в человеке любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь не только своих родных, не только тех, которые любят тебя, но любишь неприятных, злых людей, ненавидящих тебя. Чтобы любить таких людей, надо помнить, что тот, с кем имеешь дело, любит себя так же, как и ты себя, и что в нем тот же Бог, какой и в тебе. Если помнишь это, то и поймешь, как тебе надо отнестись к нему. И если

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
поймешь, то полюбишь его, а если полюбишь так, то такая любовь даст тебе больше радости, чем любовь к любящим тебя.

10. Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь – следствие, а не причина. Причина любви – сознание в себе Божеского, духовного начала. Это сознание требует любви, производит любовь.

11. Любовь к людям дает истинное, неотъемлемое внутреннее благо, соединяя человека с другими людьми и Богом.

12. Никто не может помешать духовному развитию человека, кроме его самого. Ни физическая слабость, ни умственная неспособность не могут быть препятствием к развитию духовной природы, ибо развитие духовной природы – только в увеличении любви, а ничто не может препятствовать этому увеличению.

Люси Малори

13. Разумный человек любит не потому, что ему выгодно, а потому, что он в самой любви находит благо.

14. Не сожалейте о прошлом, какая польза в сожалении? Ложь говорит: сокрушайся; правда говорит: только люби. Удали от себя все воспоминания. Не говори о прошедшем; живи в свете любви, и пусть проходит все остальное.

Персидская мудрость

15. У китайского мудреца спросили: «В чем наука?» Он сказал: «В том, чтобы знать людей». У него спросили: «В чем добродетель?» Он сказал: «В том, чтобы любить людей».

16. Человек не может достигнуть счастья, потому что чем выше его стремления к мирскому счастью, тем менее они осуществимы. Исполнение долга тоже не может дать счастья. Исполнение это дает мир, а не счастье.

17. Только божественная, святая любовь и слияние с Богом дают истинное благо, потому что если жертва стала радостью, постоянной, растущей, ненарушимой радостью, то душа обеспечена непереставшим благом.

Амиель

18. Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, то ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живет в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви, сильнее и радостнее разгорится свет любви божеской.

19. Я сознаю в себе силу, которая со временем преобразит мир. Она не толкает и не давит, но я чувствую, как она понемногу и неудержимо влечет меня. И я вижу, что меня что-то притягивает, так же как я бессознательно притягиваю других. Я увлекаю их, и они увлекают меня, и мы сознаем стремление к новому соединению.

И я спросил ту силу, которая была во мне: кто ты?

И она ответила: я – любовь, владыка неба и хочу быть владыкой земли.

Я – могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать общество будущего.

Кросби

20. Как мать, рискуя своей жизнью, воспитывает и оберегает свое детище, свое единственное детище, так пусть каждый человек воспитывает и оберегает в себе дружелюбное чувство ко всему живому.

Метта-сутта

21. Бесстрашие, спокойствие, радость, которые дают любовь, так велики, что блага мирские, даваемые любовью (любовь людей), незаметны для человека, познавшего внутреннее благо любви.

22. Только тот знает истинную любовь, кто любит людей неприятных, враждебных. Проверка истинной любви – любовь к врагам.

23. Любить человека, любящего нас, приятного нам можно человеческой любовью; но только врага можно любить божескою. Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, даже смерть, не может разрушить ее. Она есть сущность души.

24. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если займы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Лк. гл. 6, ст. 33–36

25. Любите врагов ваших – и не будет у вас врага.

учение 12 апостолов

26. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Лев. 19, 17–18). А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Мф. гл. 5, ст. 43–45

27. Если Бог равняет всех людей, не делает разницы между злыми и добрыми – а Он знает сердца людей, – как можем мы, не зная того, что делается в сердцах людей, по одной видимости разделять их и любить одних и не любить других.

28. Страстность предпочтения одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не дает добра людям или производит еще большее зло.

29. Росток любви, при появлении своем нежный, не терпящий прикосновения, могущественен только при своем разрасте. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одно – чтобы ничто не скрывало от него солнца разума, которое одно возвращает.

30. Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает им добро

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
без разбора, хороши ли они или дурны.

Магомет

31. Противопологай кротость развращенности: острый меч не разрезает мягкий шелк. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.

Саади

32. Всякий раз, когда кто-нибудь обидит тебя и ты почувствуешь зло к человеку, постарайся вспомнить о том, что все люди одинаковые сыны Божии и что, как бы ни был тебе неприятен человек, ты не должен переставать любить его, как брата, такого же, как и ты, сына Божия.

33. Бог не есть любовь. Любовь есть только одно из проявлений Бога в человеке.

34. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки.

1-е Послание Иоанна, 5, гл. ст. 2-3

35. Один из книжников, слыша прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей?

Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, израиль! Господь Бог наш есть господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей: вот первая заповедь.

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет.

Мрк. гл. 12, ст. 28-31

36. Эпикурейство приводит к отчаянию. философия долга менее безотраднa. Но спасение заключается в согласии долга и счастья, в соединении личной воли с волей божественной, в вере, что эта высшая воля управляема любовью.

Амиель

37. Человеколюбие включает справедливость.

Вовенарг

38. Мудрец сказал: мое учение просто, и смысл его легко постигнуть. Оно все состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя.

Китайская мудрость

39. Цель жизни есть проникновение всех ее явлений любовью, есть медленное, постепенное претворение злой жизни в добрую, – есть творчество истинной жизни (потому что истинная жизнь есть только жизнь любовная), есть рождение истинной, т. е. любовной, жизни.

40. Доброта есть нечто самобытное и действительное. Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Сознание этого закона законов пробуждает в душе чувство, которое мы называем религиозным и которое составляет наше высшее счастье.

Эмерсон

41. Для того чтобы быть счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать.

42. Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего в самом раннем детстве, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще более хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть и это одно есть та любовь, в которой жизнь человека.

43. Если есть в тебе силы деятельности, то пусть деятельность твоя будет любовна; если нет сил и ты слаб, то слабость твоя пусть будет любовная.

44. Добродетель человеколюбия недалеко от нас: стоит только пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.

45. Очисти свою душу от всего засоряющего ее, и останется одна любовь. И любовь эта, отыскивая для себя предмет, не удовольствуется тобою, а изберет предметом все живое и То, что живит живое, – Бога.

46. Чувство, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это – любовь.

47. Как победить дурное расположение духа? Прежде всего смирением: когда знаешь свою слабость, зачем раздражаться, когда другие указывают на нее? Это нелюбезно с их стороны, но они правы. Потом рассуждением: в конце концов останешься все-таки тем, чем был, и если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение; неучтивость ближнего оставляет нас такими, какими мы и были. Главное же – прощением: есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды, – это делать им добро, победить свой гнев добротой; их не переменишь этой победой над своими чувствами, но обуздаешь себя.

Амиель

48. Какая цена глазам, в которых нет доброты? Доброта есть истинное богатство. Собственностью владеют и добрые и злые. Стой на истинном пути, соображай и будь добр; хотя бы ты и изучил правила всех религиозных учений, только доброта даст тебе благо. Тот, в душе которого живет доброта, никогда не вступит в область мрака и печали. Никакое зло не постигнет того, кто добр и служит всем существам.

Индийский Курал

49. Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак; она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастья делает счастье.

50. Ничем нельзя вынуть из раны отравленного жала, как только бальзамом молчаливого и предупредительного милосердия. Зачем позволять себе раздражаться на человеческую злобу, на неблагодарность, на зависть, даже на коварство? Перекорам, жалобам, наказаниям никогда не будет конца. Самое простое – стереть все. Обиды, упреки, вспышки возмущают душу. Надо иметь средство исцеления от этих зол. Оно очищает все в вещественном мире; любовь – в мире духовном.

Амиель

51. Если вы сознательно не добры ко всем, то будете часто бессознательно жестоки ко многим.

Джон Рёскин

52. Любовь выводит человека из себя, из своей личности, и потому, если личность страдает, любовь избавляет от страданий.

53. Чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страдания; чем больше любви, тем меньше мучительности страдания; жизнь же вполне разумная, вся деятельность которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания – это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания цепи любви, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира.

54. Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей и себя, когда ты запутался в рассуждениях и делах, скажи себе: буду любить тех, с кем меня сводит жизнь, и старайся делать это, и увидишь, как все пройдет, облегчится, распутается, и тебе нечего будет ни желать, ни бояться.

55. Любовь – это проявление божественной сущности, для которой нет времени, и потому любовь проявляется только в настоящем, сейчас, во всякую минуту настоящего.

56. Любить вообще значит делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь.

57. И любовь не есть только слово, но есть деятельность, направленная на благо других.

58. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви, во имя другого, будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других, и никого не любит, кроме себя одного.

59. Любви в будущем не бывает; любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви.

60. Не будем медлить, чтобы быть справедливыми, сострадательными, внимательными к тем, кого мы любим; не будем ждать, когда они или мы будем поражены болезнью или угрожаемы смертью. Жизнь коротка, и не может быть слишком много времени, чтобы радовать сердца наших спутников в этом коротком переезде. Поспешим же быть добрыми.

Амиель

61. Скрывайтесь от несчастного, которому помогаете: пусть он наслаждается благодеянием, не зная имени своего благодетеля.

Из «Благочестивых мыслей»

62. Помогайте бедному, не стараясь узнавать причин его нищеты, чтобы не открыть того, что может ослабить ваше участие.

Из «Благочестивых мыслей»

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
63. Будь добр, хотя бы мир и осуждал тебя. Это лучше, чем когда тебя хвалят и ты продолжаешь быть дурным.

Лоди

64. Учение Евангелия содержит простую веру, а именно веру в Бога и почитание Его или, что то же самое, послушание Его закону. Весь же закон Его только в одном: любить ближнего. Любить ближнего, как самого себя, значит подчиняться закону и быть счастливым в исполнении закона и, наоборот, презирать и ненавидеть своего ближнего – это значит впасть в возмущение и упорство.

Спиноза

65. Существует два рода любви.

По одному, я просто люблю людей, не зная любви к единому во всех людях духовному началу.

По другому, я во всех людях только одно и люблю – это единое во всех людях духовное начало.

Разница между тою и другою любовью в том, что в первом случае я буду любить людей только до тех пор, пока они будут приятны мне.

Во втором же случае, когда я буду любить в людях их сущность, единую во всех нас, я буду любить людей даже тогда, когда они будут неприятны мне.

В первом случае мы будем то и дело менять предметы своей любви, менять жен, друзей, мужей и т. д., так как люди, которых мы любим, постоянно изменяются, изменяются и наши чувства к ним.

Во втором случае, по мере собственного нашего нравственного роста, мы все больше и больше будем любить то божеское духовное начало, которое мы все яснее и яснее будем познавать во всех людях.

Федор Страхов

66. Мучительно тяжело бывает вспоминать о том, как ты мог сделать и не сделал дело милосердия, как ты непоправимо навсегда лишил помощи того, кто ждал ее от тебя, а себя радостного сознания исполнения должного.

67. Любовь дает не только духовную внутреннюю радость тому, кто испытывает ее, но она же и главное условие радостной мирской жизни.

68. Истинная любовь – не есть любовь к одному исключительному лицу, а душевное состояние готовности любви ко всем – есть то состояние, в котором одним мы сознаем божественное начало нашей души.

69. Не думай, что твое доброе расположение к людям – это подарок, который ты делаешь своим ближним: ты делаешь этот подарок самому себе.

70. Не старайтесь привлекать к себе любовь других: любите и будете любимы.

Из «Благочестивых мыслей»

71. Обращать горечь жизненного опыта в благодушие, неблагодарность – в благодеяние, оскорбления – в прощение, – вот в чем святая алхимия высоких душ. И это превращение должно сделаться столь обычным, столь легким, чтобы оно представлялось людям естественным и чтобы нам не нужно было за это одобрение людей.



Амиель

72. Любить – значит жить жизнью того, кого любишь.

73. Святой человек не имеет своих чувств. Чувства народа становятся его чувствами. Доброе он встречает с добротой, с добротой же встречает и злое. Верующих он встречает с верою, с такой же верою встречает и неверующих.

Святой человек, живя в мире, озабочен своими отношениями к людям. Он чувствует за всех людей, и все люди обращают к нему свои уши и глаза.

Лао-Тсе

74. Любовь открывает нам благодетельную тайну: жить в согласии с самим собой и со всеми людьми.

Из «Благочестивых мыслей»

75. Без любви никакое дело не приносит пользы, и всякое дело, внушенное любовью, как бы оно мало и ничтожно ни казалось, приносит обильные плоды.

Из «Благочестивых мыслей»

76. Религия есть высшая форма любви.

Паркер

77. Чем больше человек проявляет любви, тем больше люди любят его. А чем больше его любят, тем ему легче любить других; оттого-то любовь бесконечна.

любите друг друга

(Обращение к кружку молодежи)

Мне хотелось бы на прощание (в мои годы всякое свидание с людьми есть прощание) вкратце сказать вам, как, по моему понятию, надо жить людям для того, чтобы жизнь наша не была злом и горем, какою она теперь кажется большинству людей, а была бы тем, чего желает Бог и чего мы все желаем, т. е. благом и радостью, какою она и должна быть.

Все дело в том, как понимает человек свою жизнь. Если понимать свою жизнь так, что жизнь эта дана мне в моем теле, Ивану, Петру, Марье и что все дело жизни в том, чтобы добыть как можно больше всяких радостей, удовольствий, счастья этому своему «я», Ивану, Петру, Марье, то жизнь всегда и для всех будет несчастна и озлобленна.

Несчастливая и озлобленная жизнь будет потому, что всего, чего хочется для себя одному человеку, того же самого хочется и всякому другому. А так как каждому хочется всякого для себя добра как можно больше и добро это одно и то же для всех таких людей, то добра этого для всех никогда не хватает. А потому если люди живут каждый для себя, то не миновать им отнимать друг у друга, бороться, злиться друг на друга, и от этого жизнь их не бывает счастливою. Если же временами люди и добудут себе того, чего им хочется, то им всегда мало, и они стараются добыть все больше и больше, и кроме того, еще и боятся, что у них отнимут то, что они добыли, и завидуют тем, которые добыли то, чего у них нет.

Так что, если люди понимают свою жизнь каждый в своем теле, то жизнь таких людей не может не быть несчастною. Такая она и есть теперь для всех таких людей. А такую, т. е. несчастною, жизнь не должна быть. Жизнь дана нам на благо, и так мы все и понимаем жизнь. Для того же, чтобы жизнь была такою, людям надо понимать, что жизнь наша настоящая никак не в нашем теле, а в том духе, который живет в нашем теле, и что благо наше не в том, чтобы угождать и делать то, чего хочет тело, а в том, чтобы делать то, чего хочет этот дух один и тот же, живущий в нас

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru так же, как и во всех людях. Хочет же этот дух блага себе, духу. А так как дух этот во всех людях один и тот же, то и хочет он блага всем людям. Желать же блага всем людям значит любить людей. Любить же людей никто и ничто помешать не может; а чем больше человек любит, тем жизнь его становится свободнее и радостнее.

Так что выходит, что угодить телу человек, сколько бы он ни старался, никогда не в силах, потому что то, что нужно телу, не всегда можно добыть, а если добывать, то надо бороться с другими; угодить же душе человек всегда может, потому что душе нужна только любовь, а для любви не нужно ни с кем бороться; не только не нужно бороться с другими, а напротив, чем больше любишь, тем больше сближаешься с другими людьми. Так что любви ничто помешать не может, и всякий человек что больше любит, то все больше и больше не только сам делается счастливым и радостным, но и делает счастливыми и радостными и других людей.

Так вот это-то, милые братья, мне хотелось сказать вам на прощание, сказать то, чему учили вас все святые и мудрые люди, и Христос, и все мудрецы мира: а именно тому, что жизнь наша бывает несчастна от нас самих, что та сила, которая послала нас в жизнь и которую мы называем Богом, послала нас не затем, чтобы мы мучились, а затем, чтобы имели то самое благо, какого мы все желаем, и что не получаем мы это предназначенное нам благо только тогда, когда понимаем жизнь не так, как должно, и делаем не то, что должно.

А то мы жалуемся на жизнь, что жизнь наша плохо устроена, а не думаем того, что не жизнь наша плохо устроена, а что делаем мы не то, что нужно. А это все равно, как если бы пьяница стал жаловаться на то, что спился он оттого, что много завелось трактиров и кабаков, тогда как завелось много трактиров и кабаков только оттого, что много развелось таких же, как он, пьяниц.

Жизнь дана людям на благо, только бы они пользовались ею, как должно ею пользоваться. Только бы жили люди не завистью друг к другу, а любовью, и жизнь была бы непрерывающим благом для всех.

Теперь вот со всех сторон говорят только одно: жизнь, говорят, наша дурная и несчастная оттого, что она дурно устроена, – давай переделаем дурное устройство на хорошее, и жизнь наша будет хорошая.

Милые братья, не верьте этому, не верьте тому, что от такого или иного устройства жизнь ваша может быть хуже или лучше. Не говорю уже о том, что все те люди, которые заботятся об устройстве лучшей жизни, все не согласны между собою, все спорят промежду собою: одни предлагают одно устройство, считая его самым лучшим, другие же говорят, что это устройство самое дурное, а что хорошо только то, которое они предлагают. А третьи забраковывают и это и предлагают свое самое лучшее, и т. д. Но если бы даже и было такое, самое лучшее устройство, если даже согласиться с тем, что придумано самое лучшее устройство, то как же сделать, чтобы люди жили по этому устройству, как удержать это хорошее устройство, когда люди привыкли и любят жить дурно? А то мы теперь привыкли и любим жить дурно, за что ни возьмемся, все гадим, а говорим, что хорошо станем жить, когда будет устройство хорошее. Да как же быть хорошему устройству, когда люди плохие?

Так что если и есть такое самое лучшее устройство жизни, то, для того чтобы добиться его, надо людям становиться лучше. Вам же обещают хорошую жизнь после того, как вы, кроме вашей теперешней дурной жизни, будете еще бороться с людьми, насиловать людей, даже убивать их, чтобы ввести это хорошее устройство, т. е. вам обещают хорошую жизнь после того, как вы сами сделаетесь еще хуже, чем теперь.

Не верьте, не верьте этому, милые братья. Для того чтобы жизнь была хорошая, есть только одно средство: самим людям быть лучше. А будут люди лучше, и сама собою устроится та жизнь, какая должна быть среди хороших людей.

Спасение ваше и всех людей никак не в греховном, насильническом устройстве жизни, а в устройстве своей души. Только этим, таким устройством души, добудет каждый человек и тебе и другим людям самое большое благо и самое лучшее устройство жизни, какого могут только желать люди. Истинное благо, то, какого ищет каждое сердце человеческое, дано нам не в каком-либо будущем устройстве жизни, поддерживаемом насилием, а сейчас всем нам везде, во всякую минуту жизни и даже смерти, достигаемое любовью.

Благо это дано нам из века, но люди не понимали его и не брали его. Теперь же пришло время, когда нам нельзя уже не принять его, нельзя не принять первое, потому что безобразия и страдания нашей жизни довели нас до того, что жизнь наша становится непереносимо мучительной. Второе то, что все более и более раскрывающееся нам истинное учение Христа стало теперь так ясно, что нам уже для нашего спасения нельзя не признать и не принять его. Спасение наше теперь в одном: в признании того, что истинная жизнь наша не в теле нашем, а в том духе божьем, который живет в нас, и что поэтому все те усилия, которые мы клали прежде на улучшение нашей телесной, как отдельной, так и общественной, жизни, мы можем и должны класть на одно-единственное нужное и важное для человека дело, на то, чтобы каждому в самом себе воспитывать и утверждать любовь не только к любящим нас, а, как говорил Христос, ко всем людям, и в особенности к чуждым нам людям, к ненавидящим нас.

Жизнь наша теперь так далека от этого, что в первую минуту такое перенесение всех своих усилий, вместо заботы о мирских делах, на одно невидное, непривычное нам дело – на любовь ко всем людям кажется невозможным.

Но это только так кажется: любовь ко всем людям, даже к ненавидящим нас, гораздо больше свойственна душе человека, чем борьба с ближними и ненависть к ним. Перемена понимания смысла жизни не только не невозможна в наше время, но, напротив, невозможно продолжение той озлобленной всех против всех жизни, которую мы ведем теперь. Перемена эта не только не невозможна, но, напротив, только она одна может вывести людей из тех бедствий, от которых они страдают, и потому перемена эта неизбежно рано или поздно должна совершиться.

Милые братья, зачем, за что вы мучаете себя? Только помните, что вам предназначено величайшее благо, и возьмите его. Все – в вас самих. Это так легко, так просто и так радостно.

Но, может быть, люди страдающие, бедные, угнетенные скажут: «Да, это, может быть, хорошо для богатых и властвующих; легко богатым и властвующим любить врагов, когда враги эти во власти их. Но это трудно для нас, страждущих и угнетенных». Но это неправда. Милые братья, изменить свое понимание жизни одинаково нужно и властвующим, богатым, и подчиненным, бедным. И подчиненным и бедным это легче, чем богатым. Подчиненным и бедным нужно только, не изменяя своего положения, не только не делать дел, противных любви, но не принимать участия в этих делах, как дела насилия, и все это враждебное любви устройство падет само; властвующим же гораздо труднее принять и исполнить учение любви. Для того чтобы им исполнить это учение, им надо отказаться от обладающих ими соблазнов власти, богатства; и это труднее им; бедным же и подчиненным надо только не делать новых насилий и, главное, не принимать участия в старом.

Как растет человек, так растет и человечество. Сознание любви росло, растет в нем и доросло в наше время до того, что мы не можем не видеть, что оно должно спасти нас и стать основой нашей жизни. Ведь то, что теперь делается, – это последние судороги умирающей насильнической, злобной, нелюбовной жизни.

Ведь теперь уже не может быть не ясно, что все эти борьбы, вся эта ненависть, все эти насильственные устройства, все это бессмысленные, ни к чему, кроме как к все увеличивающимся бедствиям, не ведущие обманы. И не может не быть ясно, что единственное, самое простое и легкое спасение от всего этого есть сознание основного начала жизни всех людей – любви – этого начала, которое неизбежно, без всякого усилия заменяет величайшее зло величайшим благом.

Есть предание о том, что апостол Иоанн, достигши глубокой старости, был весь поглощен одним чувством и все одними и теми же словами выражал его, говоря только одно: «Дети, любите друг друга». Так выразилась старость, т. е. дожившего до известного предела жизни жизнь одного человека. Так точно должна выразиться жизнь человечества, дожившая до известного предела.

Ведь это так просто, так ясно: ты живешь, т. е. родился, растешь, мужаешь, стареешься и вот-вот умрешь. Неужели цель твоей жизни может быть в тебе? – наверное нет. Что же такое, – спрашивает себя тогда человек, – что я такое? И ответ один: я что-то такое любящее – в первое время кажется, что любящее только себя, но стоит немного пожить, немного подумать, чтобы увидеть, что любить себя, проходящего через жизнь, умирающего, нельзя, незачем. Чувствуешь, что я должен

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru любить и люблю себя. Но, любя себя, я не могу не чувствовать, что предмет моей любви недостойна ее; но не любить я не могу. В любви есть жизнь. Как же тут быть? Любить других, близких, друзей, любящих? Сначала кажется, что это удовлетворяет потребности любви, но все эти люди, во-первых, несовершенны, во-вторых, изменяются, главное, умирают. Что же любить? И ответ один: любить всех, любить начало любви, любить любовь, любить Бога. Любить не для того, кого любишь, не для себя, а для любви. Стоит понять это, и сразу уничтожается все зло человеческой жизни и становится явным и радостным смысл ее.

«Да, это хорошо бы было. Чего же лучше? – скажут люди. – Хорошо бы было любить и жить для любви, если бы все так жили. А то я буду жить для любви, отдавать все другому, а другие будут жить для себя, своего тела; что же будет со мною, да еще и не со мною одним, а с семьей, с теми, кого я люблю, не могу не любить? Разговоры о любви давно говорятся, да никто им не следует. Да и нельзя следовать. Отдать свою жизнь любви можно бы было только тогда, когда бы все люди сразу каким-то чудом переменили жизнь мирскую, телесную на жизнь духовную, божескую. Но чуда этого нет, а потому все это слова, а не дело». Так говорят люди, успокаивая себя в своей ложной, привычной жизни. Они говорят так, но в глубине души они знают, что они не правы. Они знают, что рассуждения эти неверны. Они неверны потому, что только для выгоды мирской, телесной жизни нужно, чтобы люди все сразу изменили свою жизнь; но не то для духовной жизни: любви, любви к Богу и людям. Любовь дает благо человеку не в своих последствиях, а в самой любви, дает ему благо совершенно независимо от того, как поступают другие люди и что вообще совершается во внешнем мире. Любовь дает благо тем, что человек, любя, соединяется с Богом и не только ничего не желает для себя, но желает отдать все, что имеет, и свою жизнь другим, и в этом отдавании себя Богу находит благо. И потому все то, что делают другие люди, все то, что может совершиться в мире, не может иметь влияния на его поступки. Любить – значит отдаться Богу, делать то, чего хочет Бог, а Бог есть любовь, т. е. хочет блага всем и потому не может хотеть того, чтобы человек погибал, исполняя Его закон.

Любящий человек, и один среди нелюбящих, не погибает. А если и погибает среди людей, как Христос погиб на кресте, то и смерть его и радостная для него и значительная для других, а не отчаянная и ничтожная, каковы бывают смерти мирских людей.

Так что отговорка о том, что я не отдаюсь любви потому, что не все сделают то же, и останусь один, и неправильная и нехорошая. Это – то же, как если бы человек, которому нужно работать для того, чтобы кормить себя и детей, не брался бы за работу потому, что другие не работают.

Да, милые братья, положим нашу жизнь в усилении в себе любви и предоставим миру идти, как он хочет, т. е. как определено ему свыше. Поступим так, и поверьте мне, что мы получим наибольшее благо себе, сделаем все то добро людям, какое мы только можем сделать.

Ведь это так просто, так легко и так радостно. Только люби каждый человек, люби не одних любящих, а всех людей, особенно ненавидящих, как учил Христос, и жизнь – неперестающая радость, и все вопросы, которые заблудшие люди так тщетно пытаются разрешить насильем, не только разрешаются, а перестают существовать. «И мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, если любим братьев. Не любящий брата не имеет жизни вечной. Только любящий брата своего имеет жизнь вечную, пребывающую в нем».

Еще одно слово, милые братья.

Ни про одно дело нельзя узнать, хорошо ли оно или дурно, если не испытал его на деле в жизни. Если земледельцу говорят, что хорошо сеять рожь рядами, или пчеловоду, что хорошо ульи делать рамочные, то разумный земледелец и пчеловод, чтобы верно узнать, правда ли, что ему говорят, делает опыт и следует или не следует тому, что ему предлагали, смотря по тому, насколько он находит подтверждения в опыте.

То же и во всем деле жизни. Для того чтобы верно узнать, насколько применимы в жизни поучения о любви, испытайте их.

Попробуйте: возьмите на себя на известный срок следовать во всем требованиям любви: жить так, чтобы во всех делах прежде всего помнить, чтобы со всяким

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru человеком, с вором, пьяницей, с грубым начальником или подчиненным, не отступить от любви, т. е., имея с ним дело, помнить о том, что нужно ему, а не себе. И, прожив так положенный срок, спросите себя: тяжело ли вам было и испортили ли вы себе или улучшили жизнь, и, смотря по тому, что даст вам опыт, решайте уже, правда ли то, что исполнение любви дает в жизни благо, или это только одни слова. Испытайте это, постарайтесь вместо того, чтобы отплатить злом за зло обидчику, вместо того, чтобы осудить за глаза человека, живущего дурно, и т. п., – вместо этого постарайтесь отвечать добром на зло, ничего не сказать дурного о человеке, не обойтись грубо даже со скотиной, с собакой, а с добротой и лаской, проживите так день, два или больше (для опыта) и сравните ваше за это время душевное состояние с тем, какое бывало прежде. Испытайте это, и вы увидите, как вместо хмурого, сердитого и тяжелого состояния вы будете светлы, веселы, радостны. А живите так и другую и третью неделю, и вы увидите, как душевная радость ваша все будет расти и расти, и дела ваши не только не будут разлагаться, а будут все только больше и больше спориться.

Только испытайте это, милые братья, и вы увидите, что учение о любви – не слова, а дело, самое, самое близкое, всем понятное и нужное дело.

Федор Достоевский  
Слезинка ребенка. Дневник писателя  
1873

#### I. Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено, и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка», сам же, напротив, стал отлично писать статьи, – так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и – к

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru удивлению – понятно; да и то если принадлежат известному перу. В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими – наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве» – и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче, действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

– Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, – не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru – «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

– И мне особенно нравится, – заметил я между прочим, – что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

– Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.» (вошла в собрание его сочинений). В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоче. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

– Ну что, как ты думаешь?

– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, во только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи:

– Зарезал! Зарезал!

### II. Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил, и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора года жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они, естественно, потеряли и бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барин, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идеи» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектер. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был – писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, – всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru citizen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, – Белинский был вовсе не gentilhomme, – о нет (он бог знает от кого происходил; отец его был, кажется, военным врачом). Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись – от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самой простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я несколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужитья человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинаться с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально (замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазных основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de J̄sus», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

– Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – возьмите же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и ступался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

– Ну не-е-т! – подхватил друг Белинского (я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате). – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru – Ну да, ну да, – вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всех Жорж Санд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этим четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, – Фейербах (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах). О Штраусе говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливый из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гегг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сомнений, не от разочарований, о нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

– Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хотя тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

– А вот как зарюют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире последнее свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми» и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастливые», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

### III. Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, – все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалкивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу – в самую Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь, – но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора, нобльменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, – не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», – разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, да твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскую нравственность (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством и что нравственные основы страны все те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

– Даже хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) все те же, и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, – хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяты гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него

– Конечно, есть правда в вашем замечании, – отвечаю я голосу, несколько повеся нос, – но ведь опять-таки русский народ...

– Русский народ? Позвольте, – слышится мне другой голос, – вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров, и что не надо или рано было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, – и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволите вы насмеяться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, – мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», – рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

– Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табуку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табуку. Помилуйте: развитуму человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

– Ну, вы, однако же, – слышится мне чей-то язвительный голос, – вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, – задумываюсь я, – но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

– Вот на! – хохочет язвительный голос.

– А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

\* \* \*

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастливыми», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно – может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же, если приготавливаясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет и „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новеньких, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и – «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в его душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде – как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» – вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господа, я невольно мирился с абсентизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и – почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» – ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это мой хлеб», – чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца – поедят, не дадут – сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из Фауста? Я ведь не говорю, что была, – и было бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит, садится за стол, вздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей уходя своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но достоин снисхождения».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствующую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смылит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый края и отвернула кран. Она выдержала ручку под кипятком секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

– Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, – согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

– Да подите! – восклицает вдруг давешний язвительный голос. – Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Все напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это мой хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» – это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь почти то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», – настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

#### IV. Нечто личное

Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайной отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.

Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов. Один из этих журналов приобрел впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое; но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи – лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще из «страдающих». А между тем он один из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.

– Ну, вот мы вас обругали, – сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).

– Знаю, – сказал я.

– А знаете почему?

– По принципу, должно быть.

– За Чернышевского.



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Я остолбенел от удивления:

– NN, который написал критическую статью, – продолжал издатель, – сказал мне так: «Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю».

– Так это все та же глупая сплетня о «Крокодиле»? – вскричал я, сообразив. – Да неужто и вы верите? Читали вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?

– Нет, не читал.

– Да ведь все это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочесть между строк такую «гражданскую» аллегория, да еще на Чернышевского! Если б вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прошу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор еще не протестовал против «клеветы» – то пренебрегал, то «не было времени». Между тем, эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстаети, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал ее.

С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.

Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностью явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко недописана.

И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, – мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, – эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Пред вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

– Николай Гаврилович, что это такое? – вынул я прокламацию.

Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

– Ну, что же? – спросил он с легкой улыбкой.

– Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

– Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

– Именно не предполагал, – отвечал я, – и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

– Я никого из них не знаю.

– Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

– Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

– И однако, всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.

Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник, перед поездкой за границу, отправляется с своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот – среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величась над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит все потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздражил доселе сонного и лежавшего как колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь «запрещенных либеральных тенденций». Супруга между тем стала находить, что положение ее «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг ее между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники – смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, пред министром выкажу способности», – говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга: «А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает», – великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» – говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей все более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник ее мужа и играет с ней в свои козыри... Вот первая часть этого шутовского рассказа – он недокончен. Когда-нибудь непременно докончу, хоть я уже и забыл о нем и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить.

Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор „Крокодила“ вступает на такой путь; это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей все равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С<трахов> сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш „Крокодил“ – аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился; мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход. Calomniez, il en restera toujours quelque chose.

Я, впрочем, убежден и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, – да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевавшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь зато она и многодумная голова (я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю; в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне).

В чем же аллегория? Ну конечно – крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник – Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это... Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории (а между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намек и укрепился; я имею

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru (несомненные доказательства).

Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастливого»; мало того – написал на этот случай радостный пасквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите... «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи фета – что хотите – и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пасквиль на актера Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пасквилянта и что от меня можно ожидать таких аллегорий.

Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушие догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.

Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радужном знакомстве. Скажут – этого мало и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастье.

Но ненависть из-за убеждений, быть может?

Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних номеров прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?» Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.

Может быть, я, печатая ядовитую аллегорическую историю, надеялся выиграть где-нибудь en haut lieu? Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь lieu, то есть продавал свое перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на все свое простодушие. Да и не укрепились бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.

Что же касается до возможности обвинения в пасквильной аллегории насчет иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться...

Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моем «Крокодиле».

На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне:

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
– Я только что прочел статью вашу о «Среде» и о приговорах наших присяжных («Гражданин», № 2). Я с вами совершенно согласен, но статья ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки...

я был горестно изумлен. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и «аллегорий».

– Неужели так можно истолковать мою статью! После этого ни об чем нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояние народа по освобождению от крепостного ига – ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешевка, жида-кабатчики, воровство и дневной разбой – все это несомненные факты, и все растет, растет. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмет перо и напишет, – что же неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?

– Во всяком случае надо желать, чтобы народ имел полную свободу сам выйти из грустного своего положения, безо всякой опеки и поворотов назад.

– Да непременно же так, и это именно моя мысль! И если бы даже от упадка народного (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят теперь по местам: «Ослабели, ослабели!»), – если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастье народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда – то и тут народ спасет себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чем свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно – довольно вмешательств!.. Но как, однако же, могут быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй, и еще натолкнешься на аллегию!

V. Влас

Помните ли Вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,  
С обнаженной головой,  
Медленно проходит городом  
Дядя Влас – старик седой.  
На груди икона медная:  
Просит он на божий храм..  
У этого Власа, как известно, прежде «бога не было»;

...побоями

В гроб жену свою вогнал,  
Промышляющих разбоями,  
Конокрадов укрывал.  
Даже и конокрадов, – пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,  
Видел грешников в аду:  
Мучат бесы их проворные,  
Жалит ведьма-егоза.  
Ефиопы – видом черные  
И как углие глаза.

...

Те на длинный шест нанизаны,  
Те горячий лижут пол..  
Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», – продолжает поэт,

Богомолки, бабы умные,  
Могут лучше рассказать.  
О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если бы вы не подходили к народу с вашими восторгам, про которые

Богомолки, бабы умные,  
Могут лучше рассказать, –  
то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих  
Страница 109

Вырастают храмы божии  
По лицу земли родной.  
Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его  
страдания вы все-таки поняли; все же вас поразила величавая фигура его (да ведь  
и поэт же вы; не могло быть иначе).

Сила вся души великая  
В дело божие ушла, –  
великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы вставили вашу насмешку  
невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила  
смирения Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания  
поразила и вас, общечеловека и русского gentilhomme'a, и величавый образ  
народный вырвал восторг и уважение и из вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имя,  
Сам остался бос и гол  
И собирать на построение  
Храма божьего пошел.  
С той поры мужик скитается  
Вот уж скоро тридцать лет,  
Подаянием питается –  
Строго держит свой обет.

...  
Полон скорбью неутешною  
Смуглолиц, высок и прям,  
(Чудо как хорошо!)

Ходит он стопой неспешною  
По селеньям, городам.

...  
Ходит с образом и с книгою,  
Сам с собой все говорит  
И железную веригу  
Тихо на ходу звенит.

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не  
вы, а другой кто заместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже  
стихах, про бурлацкие песни. А впрочем – не кривлялись вы и «на Волге», разве  
только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно  
страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по  
общибурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека – значит наверно уж презирать, а  
подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно  
подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж  
извините меня) стихотворении вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один  
удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже  
совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное  
и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи –  
исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно  
их – про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так  
как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа  
хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели  
бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере,  
повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с  
удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать  
с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности,  
тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут  
или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири.  
Идут, разумеется, с раздавленной отчаянием душой, которая уже и не ждет себе  
исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит  
о нем своему священнику-духовнику, – не от страха или недоверия, а просто в  
совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь  
такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
«И вот, – говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, – выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

– Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал – все одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

– Собрались мы в деревне несколько парней, – начал он говорить, – и стали промежду себя спорить: «Кто кого дерзостнее сделает»? Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз:

– Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

– Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

– Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастью – причастье прими, но не проглоти. Отойдешь – вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

– Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

– Заряди. Зарядил.

– Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя – старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я все того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, новая черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

\* \* \*

Во-первых, мне именно удивительно – удивительно всего более – самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает»? Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, – может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и проходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такого же силою, с такого же стремительностью, с такою же жадною самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этому жадно страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости господу. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы – народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодай и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до края, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже большее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «кто сделает дерзостнее»? – и какими причинами сложилась возможность подобного состязания – осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали – один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось, чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

– Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

– Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода – разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, и мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне – в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, пронизало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но – «был же и я на таком верху!..»

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере равным по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народной, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью – ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru своим. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное – мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепenea от страха до изнеможения. И думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненною злобностью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, – начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, – и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядка ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядки ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!» В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент – вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения – все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему... все кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело господа. Для него, для преступника, без сомнения было делом господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, – черт знает, может быть, из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, – если только в ней есть интерес, – лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклеиваются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова» в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

#### VI. Бобок

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

Записки одного лица

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

– Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут...

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства вместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть – не напечатали. Написал фельетон – отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет».

– Какой же тебе соли, – спрашиваю с насмешкою, – аттической?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций...» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за мою полную подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, – живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть...» Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, – способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт... и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь – и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

\* \* \*

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако,  
Страница 116

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь – пенсионишка. Подождут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки – ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подалее и ресторан. И так себе, недурной рестораник: и закусить и все. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим... или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

– Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать, – сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу – звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
– Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

– Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

– Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии, никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

– Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике: «Здесь покоится тело генерал-майора Первеедова... таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

– Ох-хо-хо-хо! – послышался совсем уже новый голос, сажень в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, – голос мужской и престолярный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

– Ох-хо-хо-хо!

– Ах, опять он икает! – раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. – Наказание мне подле этого лавочника!

– Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

– Так зачем вы сюда легли?

– Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

– Накопил; людей обсчитывал?

– Чем вас обсчитываешь-то, коли с января почитаю никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

– Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте вверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

– Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны.

– Во гресех! – презрительно передразнила покойница. – И не смейте совсем со мной говорить!

– Ох-хо-хо-хо!

– Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

– Почему же бы ему не слушаться?

– Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

– Какой же это новый порядок?

– Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
– Ах, да! Ну все же порядок...

Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

\* \* \*

– Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... я бы пожил! – раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

– Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

– И с легкомыслием.

– Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

– Скучновато, однако, – заметил его превосходительство.

– Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

– Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

– А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, – брезгливо откликнулась крикса. – Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, – не чваньтесь, пожалуйста, – одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

– Скверная женщина! – сквозь зубы проворчал генерал.

– Матушка, Авдотья Игнатьевна, – возопил вдруг опять лавочник, – барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное делается?...

– Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

– Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, – потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

– Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

– Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

– Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

– Авдотья Игнатьевна, – заговорил льстивый чиновник, – Подождите капельку, новенькие заговорят.

– А молодые люди есть между ними?

– И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

– Ах, как бы кстати!

– А что, не начинали еще? – осведомился его превосходительство.

– Даже и третьеводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru

– Да, интересно.

– Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

– Гм, где же он тут?

– Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с... Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

– Гм, нет уж... мне что же первому.

– Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я...

– Ах, ах... ах, что же это со мной? – закричал вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

– Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

– Ах, кажется, молодой человек! – взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

– Я... я... я от осложнения, и так внезапно! – залепетал опять юноша. – Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

– Ну, нечего делать, молодой человек, – милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, – надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.

– Ах, нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп... и вот вдруг совсем неожиданно... главное, совсем неожиданно.

– Вы говорите, сначала грудь, – мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

– Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу... и знаете...

– Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

– А я, знаете, все собирался к Боткину... и вдруг...

– Ну, Боткин кусается, – заметил генерал.

– Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и все предскажет вперед.

– Его превосходительство заметил насчет цены, – поправил чиновник.

– Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт... и я непременно хотел, потому что мне говорили... Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

– Что? Куда? – приятно хохоча, заколыхался труп генерала.

Чиновник вторил ему фистулой.

– Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б такого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок – я его давеча в гробу помню – выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.



Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве – дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

– Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! – возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

– А? что? – брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче – соблазнительное и тревожное в высшей степени.

– Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

– Чего просите и что вам угодно?

– Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются...

– Не слышал.

– Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

– Вы генерал Первоедов?

– Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов...

– Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.

– Оставьте, – с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

– Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с...

– Оставьте, – повторил генерал.

\* \* \*

– Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! – вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос – голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальной его скандировкою, – я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

– Как, граф Петр Петрович... да неужели же вы... и в таких молодых годах... Как сожалею!

– Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отсюда извлечь все возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «мыльным полисоном». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой  
Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был  
помолвлен – Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в  
институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы  
меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом,  
развратили?...

– Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя бог послал, а то здесь...

– Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе... Я только  
молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

– Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не  
поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

– Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше  
превосходительство, – я не вас, Первоедов, – ваше превосходительство, другой,  
господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle  
Фюри постом возил, слышите?

– Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверь-те...

– Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу,  
да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père сочинил? Он  
третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста  
тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то  
хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там  
у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная  
мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего  
старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и – и вот  
теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты – да одна уже мысль о них должна была  
раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier  
передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налег по-приятельски:  
«Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него  
только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати  
помер. Grand-père, grand-père, слышите?

– Chér Клиневич, я совершенно с вами согласен, и напрасно вы... пускались в такие  
подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия... я  
пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все...

– Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

– Какую?... Какую Катишь? – плотоядно задрожал голос старца.

– А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти.  
Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка...  
хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там ее  
никому не показывал, один я и знал... Катишь, откликнись!

– Хи-хи-хи! – откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем  
послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-хи!

– И блон-ди-ночка? – обрывисто в три звука пролепетал grand-père.

– Хи-хи-хи!

– Мне..., мне давно уже, – залепетал, задыхаясь, старец, – нравилась мечта о  
блондиночке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

– Ах, чудовище! – воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Довольно! – порешил Клиневич, – я вижу, что материал превосходный. Мы здесь  
немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время;  
но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что  
вас так звали!

– Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
очень-очень-очень рад.

– Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь все знаете. Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

– Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

– Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

– Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.

– К делу, к делу!..

– Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамшнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз неделю в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», – но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой...

– Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

– Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная – хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...

– Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – слышались многие голоса, и, странно, слышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться...

– Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

– Я понимаю, Клиневич, – пробасил инженер, – что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

– Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас все само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могла! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

- Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса.
- Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! – взвизгивала Авдотья Игнатъевна.
- Ах... ах... Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку!
- Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!
- Хи-хи-хи! – хихикала Катишь.
- Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-риге, вы согласны?
- Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.
- Протестую! протестую изо всех сил, – с твердостью произнес генерал Первоедов.
- Ваше превосходительство! – в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников, – ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... и, наконец, все эти разные штучки...
- Положим, девочка, но...
- Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем...
- Даже и в могиле не дадут успокоиться!
- Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать, – проскандировал Клиневич.
- Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.
- Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!
- Нет, не пшик... я и здесь...
- Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц.
- Bravo, Клиневич, ха-ха-ха! – заревели голоса.
- Я служил государю моему... я имею шпагу...
- Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.
- Все равно-с; я составлял часть целого.
- Мало ли какие есть части целого.
- Bravo, Клиневич, bravo, ха-ха-ха!
- Я не понимаю, что такое шпага, – провозгласил инженер.
- Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! – прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.
- Шпага, сударь, есть честь! – крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатъевны.
- Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

– Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! – раздался было голос простолюдина, и...

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и – ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Закрываю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» – и с сим словом оставил кладбище.

\* \* \*

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь края, чтобы составить понятие. Авось наткнусть и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

#### VII. «Смятенный вид»

Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но – какой я критик? Я действительно хотел было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина. Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были. для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно надо поговорить о них. А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела».

Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге, и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольников на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целою артелью перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освященных еще до времен патриарха Никона. Очень занимательно рассказано, как одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку, тысяч в пятнадцать. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по ста рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа. В них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновник, раздраженный упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и в виду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казенную печать. Местный архиерей, увидав запечатленный лик святыни, изрек: «Смятенный вид» – и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Г-н Лесков уверяет, что слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольникам.

Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот «Ангел» из собора. С раскольниками связался англичанин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru то взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучше во всем рассказе. Все кончается тем, что за всеобщей иконе наконец выкрали из собора, ангела распечатлели, подменили иконой новой, еще не освященной, которую взялась «запечатлеть», наподобие первой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо: от новой запечатленной иконы видели свет (правда, видел один только человек), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленной, то есть без сургуча на лике. Это так поразило принесшего ее раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всем ему покаялся, причем владыка простил и изрек: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, говорит, плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».

Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.

Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен; вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборных»). Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разьяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознается, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разьяснение чуда? Конечно, от умиления и от ласки простившего их архиерея? Но взяв в соображение твердость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников одним умилением, – да и к чему, к кому? В благодарность за одно только прощение архиерея? Ведь понимали же они – даже лучше других, – что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и всех православных, ограничивается лишь тем, что говорит с воздыханием: «Смятенный вид!» – и не в силах остановить даже второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий.

И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это все правда? Неужели это все у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте. Вообразим только такой случай: положим, где-нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей молелни. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не в силах, и вот он берет сургуч и капают его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели оттого только, что икона побывала некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле освященной православною иконою, чтимую до раскола всем православием. И неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил: «Смятенный вид»? Мои тревожные вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же, как бы сей православный владыка защитил церковь, если бы обидчиком было еще более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как не малою властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдет в головы духовных чад его, то уж это всего хуже: православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пастырь? Ведь понимают же это раскольники?

Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова; так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ, в некоторых подробностях, почти неправдоподобным. Между тем в одном из недавних номеров «Голоса» прочел я следующее известие:

«Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету „Современность“: „Занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872-73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что “я тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество”. Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М. С. и во всем послушно ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова: “Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства”. “Почему бы так?” – спрашиваю я. “Потому, – отвечает посредник, – что духовенство проводит суеверие”».

Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно в косвенном смысле, почти восстанавливает правдоподобность рассказа г-на Лескова, в которой мы так усумнились и упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоюющею бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обвиняясь, в глаза и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить от лица правительства.

Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то посредник, а в десять раз выше его по власти лицо какому-нибудь хоть, например, остзейскому пастору? Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас все может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь «смятенный вид» и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа.

\* \* \*

Очень странное явление случилось недавно в одном углу России – немецкое протестанство в среде православия, новая секта штундистов. «Гражданин» о ней сообщал своевременно. Явление почти уродливое, но в нем как бы слышится нечто пророческое.

В Херсонской губернии какой-то пастор Бонекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили себе это первым и непременным условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фанатической быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают:

– У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), – у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов...

Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откуда бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд.

Значит, против обряда и протестовал.

Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?

Причина, может быть, очень общая – та, что воссиял ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути; но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидел, как он «жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг». Главное, правды захотелось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Вот явление. Явление это, может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом, повторяю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда все будущее так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчества.

Ну что, если нечто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тем более что, говорят, уже приняты надлежащие меры), а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды прежде всего».

Что возжаждет он правды – в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов.

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли все, все, чего ищет он, в православии? Не в нем ли одном и правда и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!

Да, но покамест это все сбудется, пастор-то вот встал пораньше, с первыми птицами, да и пришел к народу, чтобы сказать ему правду – православную правду, он был очень совестлив. Но народ пошел за ним, а не за православием, – не из благодарности только, а за то, что от него первую правду увидел. Ну и вышло, что «у него потому хорошо, что постов нет». Заключение очень понятное, коли замешалась личность.

Ну а кстати: что же наши священники? Что об них-то слышно?

А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются за сочинение проповедей и готовятся произнести их.

Поспеют ли только вовремя? Поспеют ли проснуться с первыми птицами? Пастор все-таки птица иная, залетная, да и гарантирован иначе. Ну да и служба совсем другая, начальство и проч. Так-то так, да ведь не чиновник же в самом деле и наш



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru священник! И не проповедник ли он единой великой Истины, имеющей обновить весь мир?

Пастор поспел раньше него, это все правда; но что же и делать, однако, было священнику в случае, например, хоть штундистов?

Мы вот все склонны обвинять наших священников, а вникнем, однако: неужели ограничиться лишь доносом начальству? О, конечно, нет, добрых пастырей у нас много, – может быть, более даже чем мы можем надеяться или сами того заслуживаем. Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? – приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому. О преимуществе православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди темные: ничего не поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком пускаясь в подробности, ибо... ибо все-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит... Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же, что и «смятенный вид-с». Остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше...

Ну а пастору какое дело до величия России как великой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него совсем другая. А потому дело и осталось за ним.

#### VIII. Полписьма «одного лица»

Ниже я помещаю письмо или, лучше сказать, полписьма «одного лица», в редакцию «Гражданина»; все письмо напечатать было никак невозможно. Это все то же «лицо», вот тот самый, который уже отличился раз в «Гражданине» насчет «могилок». Признаюсь, печатаю, единственно чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих. Он написал уже за меня и в пользу мою три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец, «наставление как вести себя». В этом последнем полемическом сочинении своем он под видом наставления «врагам» моим нападает уже на меня самого и нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у «врагов» моих. Он хочет, чтобы я это все напечатал! Я решительно заявил ему, что, во-первых, «врагов моих» никаких не имею и что все это только так и призраки; во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года с такою неслыханною литературною яростью, беспардонностью и простодушием приемов атаки, теперь, недели две, даже три тому назад, вдруг и неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи.

Он рассердился и, поспорив со мною, вышел. Я даже был рад тому. Это человек болезненный... Он в напечатанной у нас еще прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии: человек огорченный и ежедневно себя «огорчающий». Но, главное, меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонорария, а пишет единственно из «гражданского долга». Даже признался мне с гордою, но вредящею себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при сем случае свои мысли, так как их ни в одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе, хоть задаром, постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всем, отзывается на все с горечью, с яростью, с ядом и со «слезой умиления». «Девяносто процентов на яд и один процент па слезу умиления!» – объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнется новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут: поучает и дает наставления. Это совершенная правда, что в одну газету он отослал до сорока писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чем писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем, в два с половиною месяца, до двадцати восьми штук. Пишет он всегда за своею полною подписью, так что его везде уже знают, и мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но еще в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьется-таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из двадцати восьми его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru добивается? Это какой-то сумбур... Рядом с грубостью приемов, с цинизмом красного носа и «огорченного запаха» исступленного слога и разорванных сапогов мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht по чему-то утраченному, и все это выходит как-то до крайности в нем отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но бог с ним и с его благородством! Не далее как три дня после нашей ссоры он явился опять, с «последнею уже попыткой», и принес вот это «Письмо «одного лица». Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать.

Первую половину письма решительно нельзя напечатать. Это одни только личности и ругательства чуть не всем петербургским и московским изданиям, выходящие из всякой мерки. Ни одно из упрекаемых им изданий не возвышалось до такого цинизма в ругательствах. И главное, сам-то он их ругает единственно за цинизм и за дурной тон их полемики. Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, – увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог возвышенный, причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. Обращаясь с увещанием к фельетонисту, он говорит ему «ты», как в одах старого времени. Он ни за что не хотел, чтобы я начал с точки, и настоял на том, чтобы печатание полуписьма его началось с полужафры, именно так, как отрезалось ножницами: пусть, дескать, увидят, как меня исказили! Он же отстоял и заглавие: я хотел все-таки написать «Письмо «одного лица»; он непременно потребовал, чтобы озаглавлено было «Полписьма „одного лица“».

Итак, вот эти полписьма:

Полписьма «одного лица»

...и неужели в слове «свинья» заключается столь магический и заманчивый смысл, что ты тотчас же и несомненно принимаешь его на свой счет? Я давно уже стал замечать, что в русской литературе это слово постоянно имеет некоторый особенный и даже как бы мистический смысл. Даже дедушка Крылов, понимая это, употреблял с особою любовью «свинью» в своих апологах. Читающий литератор, даже в уединении и про себя, встретившись с словом сим, немедленно вздрагивает и тотчас же начинает задумываться: «Не я ли это? Не про меня ли написано?» Согласен, что слово энергическое, но зачем же подразумевать непременно себя и даже себя одного? Есть и другие кроме тебя. Уж не имеешь ли тайных причин к сему? Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность? [Это несомненно преувеличено, но отчасти и верно. Тут намек собственно на то, что в первом № «Гражданина» я имел несчастье привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, причем ловко отклонил даже самую возможность предположения, что слово «лев» нескромно отношению на свой счет. И что же? Действительно многие выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. Даже было нечто вроде феномена: в редакцию пришло письмо одного подписчика из одной далекой окраины России; подписчик дерзко и азартно укоряет редакцию за то, что под словом «свинья» она будто бы несомненно подразумевает своих подписчиков – предположение до того нелепое, что даже иные и петербургские фельетонисты не решились им воспользоваться в своих обвинениях... а это уже мера всему. Ред.].

Второе, что замечу тебе, о друг мой фельетонист, это то, что ты невоздержан в планировке своих фельетонов. Ты напихиваешь в столбцы свои столько генералов, акционеров, князей, в тебе и в острых словах твоих имеющих нужду, что поневоле заключаю, читая, что за обилием многих не имеешь ни одного. Здесь ты присутствуешь на значительном заседании совета и изрекаешь бонмо, свысока и небрежно, но тем бросаешь луч света, и совет немедленно и торопливо переменяется к лучшему. Там в глаза осмеял одного богатого князя, за что он немедленно зовет тебя на обед, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально от обеда отказываешься. Там заезжому милорду, в интимном разговоре в салоне, в шутку открываешь всю тайную подкладку России: он в страхе и в восхищении тут же телеграфирует в Лондон, и на другой же день министерство Виктории падает. Там, на Невском, на прогулке от двух до четырех ты разрешаешь государственную задачу трем отставным, но бегущим за тобою министрам; встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему двести рублей займа; с ним едешь к фишине для благородного (будто бы?) негодования... Одним словом, ты тут, ты там, ты везде; ты рассыпан в обществе, тебя рвут нарасхват; глотаешь трюфели, ешь конфеты, разъезжаешь на извозчиках, в дружбе с половыми у Палкина – словом, без тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконец, подозрительною.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду за обойденного наградой или по крайней мере за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной печати возратить свою должность. Но опытный житель обеих столиц знает иное: ибо знает он, что ты не более как нанятой борзописец у антрепренера-издателя; ты нанят и обязан его защищать. Он же (но никто другой) натравливает тебя на кого ему вздумается.

Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой – все это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты сам за себя стоял! Напротив, чему всего более удивляюсь в тебе – это тому, что ты, наконец, горячишься действительно, принимаешь к сердцу как будто в самом деле свое, ругаешься с фельетонистом-соперником как бы из-за какой-то любимой идеи, из-за дорогого тебе убеждения. Между тем знаешь сам, что своих идей не имеешь, а убеждений и подавно. Или, может быть, вследствие многолетней горячки и упоения смрадным успехом своим ты возмечтал наконец, что у тебя есть идея, что и ты способен иметь убеждение? Если так, то как же рассчитываешь после сего на мое уважение?

Некогда ты был честным и благообразным юношей... О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского: почтенный старец говорит рвущемуся сразиться юноше:

Я боюсь, среди сражений  
Ты утратишь навсегда  
Скромность робкую движений,  
Прелесть неги и стыда.

Увы, ты все это и давно уже навсегда утратил! Смотри сам, как ты споришь с фельетонным врагом твоим, и пойми, до чего вы наконец доругались! Ибо вовсе вы уже не так подлы, как друг друга рисуете. Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, седое дитя, за неимением мыслей бранишься всеми словами разом, – худой прием! Именно за неимением убеждений и настоящей учености ты стараешься более вникнуть в частную жизнь своего соперника; с жадностью узнаешь проступки его, искажаешь их и предаешь их благодетельной гласности. Не жалеешь жены и детей его. Предполагая друг друга умершими, пишете каждый и обоюдно один другому, в виде пашквиля, по надгробному слову. Скажи же, кто поверит тебе, наконец? Читая фельетон твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно склонен подумать, что ты не прав, что в фельетоне твоём особый и секретный смысл, что вы, верно, где-нибудь подрались на даче и не можете позабыть сего. Невольно заключаю в пользу твоего соперника, и эффект твой манкирован. А к тому ли стремился ты?

И какая детская неумелость в тебе? Обругав соперника, ты заключаешь свой фельетон словами: «Вижу вас, господин NN, как вы, прочитав эти строки, бегаеете вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства...»

Друг мой, простодушный, но исступленный страдалец своего фиктивного, напускного в пользу антрепренера бешенства, о друг мой, фельетонист! Скажи: прочитав в твоём фельетоне подобные строки будто бы о твоём сопернике, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты сам, а не соперник твой, бегаешь по своей комнате, рвешь свои волосы, бьешь вбежавшего в испуге лакея, если он есть у тебя и с 19 февраля еще не утратил первобытной невинности; с визгом и скрежетом кидаешься ты на стену и отбиваешь в кровь кулаки свои! Ибо кто поверит, что можно послать такие строки сопернику, не отбив в кровь своих собственных кулаков предварительно? Таким образом, сам выдаешь себя.

Очнись же и приобрети стыд. Приобретя стыд, приобретешь и умение писать фельетоны – вот выгода.

Представлю тебе аллегория. Ты вдруг публикуешь в афишке, что на будущей неделе в четверг или в пятницу (словом, представь себе день, в который пишешь свои фельетоны) в театре Берга или в особо устроенном для того помещении будешь показывать себя нагишом и даже в совершенной подробности. Верю, что найдутся любители; такие зрелища особенно привлекают современное общество. Верю, что съедутся и даже во множестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если так, то в чем же твое торжество?

Теперь рассуди, если можешь: не то ли самое изображают твои фельетоны? Не выходишь ли каждую неделю, в такой-то именно день, нагишом и со всеми

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
подробностями перед публикой? И для чего, для кого ты стараешься?

Тут смешнее всего, что вся публика знает весь секрет войны вашей, знает и знать не хочет, проходит мимо вас равнодушно; вы же рветесь из себя и думаете, что все берут в вас участие. Человек простодушный! Публике слишком известно, что антрепренер столичной газеты, когда по примеру его основалась другая газета, в испуге сказал себе, схватясь за карман: «Эта новооснованная негодница может лишить меня двух или двух с половиною тысяч подписчиков. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу». Кудлашка – ведь это ты!

Антрепренер тобою доволен; он гладит свои бакенбарды и после завтрака с улыбкою думает: «Как я, однако же, натравил его»!

Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная. Антропка есть провинциальный мальчишка, или, вернее, брат другого провинциального мальчишки, и уже Антропки (а первый, положим, Нефед), скрывшегося из избы в темную летнюю ночь по поводу сделанной шалости. Строгий отец послал старшего мальчишка привести нашалившего братишку домой. И вот над обрывом оврага раздаются раздирающие вопли:

– Антропка! Антропка!

Долго не откликается виноватый шалун, но наконец «как бы с того света» раздается дрожащий и робкий голосенок его с другой стороны оврага:

– Чиво-о?

– А тебя тятенька высичь хочи-ит! – с злобною и торопливою радостью подхватывает старший братишка.

Голос «с того света», разумеется, затихает. Но вот с надрывом и с бессильным, самоскребущим озлоблением все еще слышатся в темную ночь бесконечные, но бессильные вопли:

– Антропка-а! Антропка-а-а!

Сей гениальный возглас к Антропке и – что главное – бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми, дошедшими до почтенных седин, членами современного, но взволнованного реформами общества. И не напоминает ли тебе хотя бы что-либо сих Антропок в столице? Ибо между сими двумя антрепренерами столичных изданий не замечаешь ли нечто антропочное? Ты и соперник твой – не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскания Антропок? Антропки – не те ли это из предполагаемых вами новых подписчиков, которые могли бы поверить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрыв и старания ваши останутся втуне, что не отзовется Антропка, что не отобьете вы друг у друга ни одного подписчика, что у каждого будет довольно и без того; но вы уже так въелись в игру сию и так нравятся вам этот скребущий сердца ваши до крови фельетонный бессильный надрыв, что вы уже не можете удержаться! И вот еженедельно и в известные дни среди темной ночи, объявшею нашу литературу, с надрывом и с яростью раздается: «Антропка-а! Антропка-а!» И мы это слушаем.

Позволю себе и еще аллегорю.

Представь, что тебя пригласили в порядочное общество; ибо предполагаю, что ездешь и ты в порядочные круги общества. Ты прибыл на званую вечеринку к статскому даже советнику в день его именин. Гости уже заранее предуведомлены хозяином о твоём остроумии. Тыходишь с приличием, одет хорошо, расшаркиваешься с хозяйкою и говоришь ей любезности. С удовольствием ощущаешь, что на тебя смотрят, и готовишься отличиться. И вдруг, о ужас! замечаешь в углу залы литературного твоего соперника, прибывшего раньше тебя и которого даже и знакомым в сем месте не предполагал до последней минуты. Ты изменился в лице; но хозяин, относя сие к минутному твоему нездоровью, спешит, по наивности, познакомить тебя с литературным врагом твоим. Вы мычите и тотчас же повертываетесь друг к другу спинами. Хозяин в смущении, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный прием, неизвестный ему за делами службы. Между тем спешат картами, и хозяйка приглашает тебя в ералаш с свойственною ей любезностию. Чтоб избавиться от соперника, ты берешь карту с радостию; новый

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru ужас: оказывается, что вы за одним столом. Отказаться уже нельзя, ибо причину тому обе развязные и любезные светские дамы, ваши партнерки. Обе садятся спеша, а кругом них несколько родственниц и знакомых, и все жаждут слушать двух литераторов, все смотрят на ваши рты, все ловят ваше первое слово, не спуская с вас глаз своих. Соперник твой обращается к даме с спокойствием и говорит ей: «Кажется, сдача за вами, сударыня». Все улыбаются, все переглядываются, остроумное слово получает успех, и сердце твое сжимается завистью. Но следует сдача. Открываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и самая старшая – валет. Ты скрежещешь зубами, а соперник твой улыбается. К нему пришли карты, и он с гордостью объявляет коронку. Взор твой тускнеет. Схватываешь бронзовый веский фамильный подсвечник, которым гордится хозяин, хранящийся весь год у хозяйки в шкафу и выставлемый на вид лишь единственно во дни ангелов, – схватываешь и стремительно пускаешь его в лоб своему сопернику. Крик и недоумение! Все вскакивают, но вы уже бросились и с пеной ярости вцепились друг другу в волосы. [Редакция находит эту картину немного преувеличенную]. Ибо, судя по твоему нетерпению в литературе и неумению сдержаться, имею право заключить и о нетерпении твоём в частных обществах. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая от тебя столько остроумия, с криком спасается под крыло своего супруга, значительного инженер-подполковника. Тот, указывая на вас обоих, крутящихся за волосы, говорит ей: «Я предвещал тебя, миленькая, чего можно ожидать от современной беллетристики!» Но вас уже стащили вон с лестницы и выпихнули на улицу. Именинник хозяин, чувствуя вину свою перед созванным обществом, просит у всех извинения, рекомендуя забыть о русской литературе и продолжать ералаш. Ты же лишил себя светского вечера, приятных, хотя и невинных минут с петербургской дамой и ужина. Но вам обоим не до того: вы схватываете по легковому извозчику и несетесь по зловонным петербургским улицам каждый в квартиру свою, чтобы тотчас же сесть за фельетон. Ты погоняешь извозчика, мимоходом завидуя его невинности, но уже обдумываешь статью свою. Ты прилетел, схватываешь перо свое и рассказываешь точь-в-точь и в малейшей подробности все, что случилось с тобой у советника!

Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, угощение их, восстаешь против обычая именин, против инженер-подполковника, против дамы, своей партнерки, и наконец-то добираешься до соперника. О, тут уже все до последней подробности, по известной нынешней общей манере вашей выставлать подноготную. Ты рассказываешь, как он бил тебя и как ты его бил, обещаешь, что будешь бить, и как он обещался бить. Ты хочешь приложить к статье своей пачку вырванных у него волос. Но вот уже утро... Ты бегаешь по комнате и ждешь редакционного часа. Являешься к редактору, и вдруг тот с спокойным видом объявляет тебе, что он еще накануне примирился с антрепренером-соперником, прекратившим издание и сдавшим ему подписчиков, сам же запил с ним мир у Дюссота бутылкой шампанского. Затем благодарит тебя за услуги и объявляет, что ты ему больше не нужен. Скажи, каково положение твое!

Всего более не люблю я последних дней масленицы, когда черный народ допивается до последней степени своего безобразия. Остопелые рожи пьяниц, в рваных халатах и сюртучишках, толпятся у кабаков. Вот двое остановились на улице: один уверяет, что он генерал, а другой ему: «Врешь!» Тот бесится и ругается, а этот: «Вр-решь!» Тот еще пуще, а этот все то же: «Вр-решь!» – и так далее до двухсот даже раз! Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повторении одного и того же слова, так сказать погрязая в услаждении бессилием своего унижения.

Читая фельетоны твои, невольно воображаю себе слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу. Ибо не то же ли и у вас, как и у этих двух остановившихся у перекрестка бестолковых пьяных халатников? Не уверяет ли твой соперник в каждом фельетоне своем, что он генерал; и не отвечаешь ли ты ему, как халатник на перекрестке: «Вр-решь!» И все это такое бесконечное число раз, без малейшего даже предчувствия, как все это, наконец, надоело. Воображаю вас именно как на масленице, обезумевших и упившихся, в последний (прощеный!) день; воображаю, как вы валяетесь каждый перед окнами своей редакции и, копошась в грязном столичном буром снегу, кричите изо всей мочи друг на друга сиплыми голосами:

– Караул! кар-раул! кар-раул! Но молчу и поспешаю мимо...

Молчаливый наблюдатель.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
NB. «Молчаливый наблюдатель» – это псевдоним «одного лица»; я забыл о том  
предуведомить.

#### IX. По поводу выставки

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить?

По-моему, переведите комедию г-на Островского – ну, «Свои люди сочтемся», или даже любую, – и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, – и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом

«Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» – произведение уже значительное). Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь – посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, – все это пропало, как не бывало вовсе.

Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык – и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемой. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. Между тем, мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное.. Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую склонность судить нас всегда к

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебности к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и – вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы.. Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил тарачимся доказать, что мы европейцы..

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа», вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем – лес; оттуда – туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто пронизывает всего, вы почти ее чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, – самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, – не могу судить) не произведет, по-моему, за границу слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр – в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем, оба они видимо уже раскисли от наслаждения – самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель... Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно личностно ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью (нельзя же-с)... Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей». Чай кончится, и начнется торг... Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец или венский жид (Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах)? Может, кто и растолкует в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти – рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее – это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, пойдем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или ливонской каюте игра в карты – это, конечно, понятно,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать – так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрыгайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Все это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предположить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен»! Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так... что тут что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, – поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», – поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений?

В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглухнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное – золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова – решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например,



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приывая, чтобы свидеться с несчастным мужем столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), – знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так делает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяжное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной смерти в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чухотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем блеснит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится – удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонка... и – и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, – именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какой любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты – не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты. Но все же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я успел оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс – жанр, не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников – идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», – говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приговаривается, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. Сделаю nota bene: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многообразии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности. Между тем, у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно не та, что текущая (жанр), – именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если вообразить прошедшее событие и особенно давно прошедшее, заверщенное, историческое (а жить и не вообразить о прошлом нельзя), то событие непременно представится в законченном его виде, то есть с прибавкой всего последующего его развития, еще и не происшедшего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности – историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. Вспомните внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, – но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и причем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарева кесареви»; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

\* \* \*

Однако я и забыл о выставке. Впрочем... Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее, редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

Х. Ряженный  
Кто тебя!

В «Русском мире» (№ 103) появилась на меня ругательная заметка. Ни на одну ругательную статью я не отвечаю; на эту ответу – по некоторым соображениям, а по каким – выяснится в продолжение ответа.

И во-первых, дело в том, что ругатель мой духовное лицо, – с этой стороны менее всего ждал нападения. «Заметка» подписана «Свящ. П. Касторский». Что такое: «Свящ.»? Священник? Что может означать это сокращение, кроме «священник»? Тем более что и речь о церковном предмете. В 15–16 № «Гражданина» напечатана была повесть г-на Недолина «Дьячок». Ну вот об ней-то и дело.

Вот эта «заметка»:

Холостые понятия о женатом монахе

Священнослужители и церковники весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований; еще чаще они появляются там в качестве вводных, так сказать, аксессуарных лиц. Это и прекрасно, что их описывают: в духовном быту очень много типических лиц, и почему их не изображать с их добрыми и худыми сторонами? Недавний успех «Записок причетника» в «Отечественных записках» и потом еще больший успех «Соборян» в «Русском вестнике» показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира. Оба названные произведения представляли наших клириков людей с разных точек зрения, и оба они прочитаны со вниманием и с удовольствием. А почему? – потому что они написаны хорошо, художественно и с знанием дела. Но совсем не то выходит, когда по подражательности или по чему-нибудь другому, – например по самонадеянности или по легкомыслию, – за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такие вредные покушения – карикатурить быт нашего духовенства – невозможно, и я вслед за псаломщиком, недавно заметившим в «Русском мире» невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале «Гражданин», под которым подписывается редактором тот же г-н Достоевский.

Остановимся пока тут. Что значит «вслед за псаломщиком, обличившим в „Русском мире“ невежество писателя Достоевского»? Не читал. (И опять „Русский мир“!) Отыскиваю (№ 87), действительно есть обличение, подписано «Псаломщик». Посмотрим, что такое: «О певческой ливрее». (Письмо в редакцию):

«В № 13 журнала „Гражданин“ (26 марта) мне случилось прочесть статью г-на Ф. Достоевского по поводу академической художественной выставки. Г-н Достоевский, трактуя в этой статье о псаломщиках, изображенных художником Маковским, написал такие строки: „Все это господа в официальных костюмах с гладко-гладко выбритыми подбородками. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе и искони надевают такие костюмы и искони так велось с патриархальных времен...“»

Прервем на минуту: во-первых, такой глупой фразы у меня совсем нет. У меня

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru написано: «Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе и искони так велось, с патриархальных времен...» – а это совсем другое.

Продолжаем выписку:

«Это неосновательно: ни искони, ни с патриархальных времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов, в каких мы видим их ныне и в каких псаломщики изображены в картине г-на Маковского. Эта ливрея есть позднейшее позаимствование, взятое с Запада, или, точнее сказать, из Польши, и в числе достопочтенных иерархов нашей церкви было и есть немало таких, которые находят этот ливрейный маскарад неуместным, и певцы состоящих при них хоров поют в обыкновенных черных сюртуках, что, конечно, гораздо скромнее и пристойнее польского контуша. „Искони“ же, во времена „патриархальные“, певцы пели стоя в длинных черных азямах и непременно с лестовками в руке; так же точно стоят певцы и ныне в церквах единоверцев и в моленных раскольников».

НВ. Выходит, пожалуй, что у нас, в теперешних православных храмах, певчие поют сидя. Сведущего человека всегда полезно послушать.

«Опасаясь (есть чего!), дабы через неведущее слово г-на Достоевского не укреплялось неосновательное мнение насчет этих ливрей (землетрясение будет от этого, что ли?), которые давно бы пора перекроить на русский лад, я имею честь просить редакцию „Русского мира“ дать место этим кратким строкам моим.

Псаломщик».

Вот эта заметка Псаломщика, на которую ссылается Свящ. Касторский. Прежде чем будем продолжать Касторского, кончим с Псаломщиком.

Чего вы рассердились, г-н Псаломщик? Вы указываете ошибку и учите, а между тем ошибаетесь сами. Вы говорите: «Это неосновательно: ни искони, ни с патриархальных времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов...» Как так? Почему «это неосновательно»? Почему нельзя сказать: искони и с патриархальных времен? Что же, они вчера, что ли, так оделись? Ведь по крайней мере при пра-пра-прадедах?

С насупившимся видом глубокого историка вы являетесь нас поправлять, а между тем сами ничего не говорите точного? Ждешь, что глубокий историк с точностью определит время, год, а пожалуй, и день, когда клир в первый раз оделся в эти костюмы, а вы после всего, что натрубили, довольствуетесь вялой догадкой: «Это-де у нас с польского» – и только! А звону-то, звону-то!

Вы только ответьте, г-н Псаломщик, как по-вашему: польское влияние, отразившееся одновременно у нас на очень многом и даже вот на клире, – давно оно было, по-вашему, или всего только третьего дня? Так почему же, ради всего сколько-нибудь толкового, нельзя выразиться, что искони так велось, с патриархальных времен? Не только с патриархальных, но почти с патриаршими временами это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные им) появились с Петра Великого, стало быть, почти соприкасались со временами патриаршими, немногого недостало. Разве это недавно? Нельзя, что ли, сказать искони? или с «патриархальных времен»? Если же я в статье моей и сам не определил с исторической точностью, с какого именно времени наши певчие в эти костюмы одеваются, то потому что и намерения сего не питал, и цели такой не имел, а единственно хотел выразить, что заведено это очень давно, – так давно, что всегда можно выразиться «искони», и это всякий поймет, кто прочтет статью мою. Не про Димитрия Донского время я говорил и не про Ярославово. Я хотел сказать, что «очень давно», и ничего больше.

Но довольно с ученым Псаломщиком. Выскочил, намахал руками, и – ничего не вышло. По крайней мере, этот выразился вежливо: «Опасаясь, дескать, дабы через неведущее слово г-на Достоевского» и т. д. Но Свящ. Касторский разом перескакивает пределы, поставленные Псаломщиком. Резвый человек!.. «Невежество писателя Достоевского насчет певчих»... «Не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале „Гражданин“, под которым подписывается редактором тот же г-н Достоевский».

Подумаешь, что за страшные преступления натворил этот Достоевский: простить даже

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не в состоянии!.. Но, однако, какое же это «невежество»? В чем дело? Нечего делать, выпишем всего Касторского, угостим читателей. Зачем «хорошего понемножку»? Чем больше его, тем лучше, – вот моя мысль.

«В 15–16 № журнала „Гражданин“, вышедшем 16 сего апреля, напечатан „Дьячок. Рассказ в приятельском кругу г-на Недолина“. Рассказ этот имеет самое ложное и невозможное основание: в нем представлен голосистый дьячок, которого бьет его жена, и бьет его так усердно и жестоко, что он от ее побоев сбегает в монастырь, где и „обрек себя Господу и не должен больше ни о чем земном думать“. Он остается в монастырской ограде, а долго бывшая его жена его дьячиха стоит за оградой; он там звонко распевает переложение псалма:

И свят, о боже, твой избранник!  
Мечом ли руку ополчит,  
Велений господя посланник,  
Он исполина сокрушит.

А покинутая жена опять „стоит у монастырской ограды и, приложив свою пылавшую голову к монастырской стене, плачет“ и просит выманить к ней определившегося в монастырь мужа, с тем что она „будет ему рабой и собакой“. Но муж не вышел и так и умер в монастыре.

Какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Кто этот г-н Недолин, мы не знаем; но всеконечно это человек совсем не знающий ни русского законодательства, ни русской жизни, – не знающий их до того, что он полагает, будто в России можно женатому человеку определиться в монастырь и будто его там станут держать; но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, – тогда это другое дело; но всякий мало-мальски знающий законы и уставы своей церкви может легко убедить г-на Достоевского, что даже такое чудо у нас невозможно, потому что оно строго запрещено и преследуется нашими положительными законами, которых никакое монастырское начальство преступить не может и человека, имеющего живую жену, в монастырь не примет.

Крайне бедная и неискусно скомпонованная фабула рассказа „Дьячок“, конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вероподобная развязка, а таковая вполне возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомого с бытом изображаемой среды. Рассказ, например, мог быть доведен до того весьма знакомого драматического положения, что дьячок, чтобы скрыться от сварливой жены, бежит в монастыри, но из одних его выгоняет начальство, потому что он женат, а из других сама жена его вытребовывает и, пожалуй, опять его бьет... Тогда, не видя нигде в отечестве спасения от жены и в то же время стремясь к монастырской жизни, злополучный дьячок мог бы, например, бежать на Афон, где под мусульманским управлением турецкого султана православная церковь действует во многом самостоятельнее, чем в России. Там, как известно, в монастырях иногда не боятся принимать и женатых людей, ищущих иночества, и там-то немилосердно побиваемый женою русский дьячок мог бы приютиться и молиться и петь, но во всяком случае только петь отнюдь не то стихотворное переложение, которое поет дьячок „Гражданина“, потому что, во-первых, как основательно известно, это переложение у лиц духовного звания вниманием не пользуется; во-вторых, оно на голос не положено и не поется, а в-третьих, никаких светских стихотворных переложений в стенах православных монастырей распевать не дозволяется, и запрещением этим никто, живущий в монастыре, манкировать не смеет, дабы не нарушать тишины, подобающей месту.

Свящ. П. Касторский».

Теперь ответим по пунктам и, во-первых, успокоим взволнованного священника Касторского в самом главном пункте, объяснив ему, что повесть «Дьячок» вовсе не бытовая. Почтенному автору ее г-ну Недолину (не псевдоним), часть своей жизни проведенную на самой деятельной государственной службе, никакого дела не было в настоящем случае до церковного быта. Его герой «дьячок» мог безо всякой потери для себя и для рассказа быть каким-нибудь, например, почтамтским чиновником, и если остался в рассказе дьячком, то единственно потому, что происшествие это

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru истинное. Поэма эта исключительная, почти фантастическая. Знаете ли вы, священник Касторский, что истинные происшествия, описанные со всею исключительностью их случайности, почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный? Задача искусства – не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многообразия однородных жизненных явлений. В рассказе г-на Недолина обобщено совсем другое явление человеческого духа. Если бы, напротив, он имел претензию на бытовое изображение, то, с этой точки зрения и с одним своим анекдотом, непременно бы попал в исключительность. Недавно, то есть несколько месяцев тому назад, в одном из наших знатнейших монастырей случилось, говорят, что один глупый и злой монах убил в школе десятилетнего мальчика жестокими побоями, да еще при свидетелях. Ну не фантастическое ли это приключение на первый взгляд? А между тем оно, кажется, вполне истинное. Ну опиши его кто-нибудь – мигом закричат, что это невероятно, исключительно, изображено с намерением предумышленным, – и будут правы, если судить с точки зрения одной бытовой верности изображения наших монастырей. Верности не было бы и с одним таким анекдотом; и поныне найдется в монастырях наших ангельское житие, во славу божию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого. А уж вам так и кажется, что уж если написано «дьячок», так уж непременно специальное описание быта; а уж коли описание быта, так уж непременно отмежеванные и патентованные писатели для изображения его, и не смей, дескать, соваться на нашу ниву; это наш угол, наша эксплуатация, наша доходная статья. Не правда ли, ведь это вас взволновало, священник Касторский? Помилуйте, можно написать пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г-на Лескова. И потому успокойтесь.

Успокоив вас, попрошу вас обратить внимание на заглавие вашей полемической статьи: «Холостые понятия о женатом монахе».

И мимоходом спрошу: к чему тут «холостые»? Насколько изменятся понятия, если они будут женатые? И разве есть холостые понятия и женатые понятия? Ну да вы не литератор, и все это вздор; вы – взволнованный священник Касторский, и с вас слогу нечего спрашивать, особенно в таком состоянии. Главное дело вот в чем: кто вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи? Где, во всей повести г-на Недолина, нашли вы, что он постригся? Между тем это очень важно; озаглавив таким образом, вы читателя, незнакомого с повестью г-на Недолина, прямо вводите в недоумение: «Да, действительно, – подумает он, – женатый дьячок не мог поступить в монахи! Как же этого не знает „Гражданин“?» Таким образом, отведав словом «монах» глаза читателю, вы уже победоносно восклицаете в середине вашей статьи:

«Какая жалкая, невозможная и смешная небылица!.. Как же не знать того редактору г-ну Достоевскому, который» и т. д..

А между тем вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю вас на плутне. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина. Женатого в монахи не постригут, это так; но почему «никакое монастырское начальство имеющего живую жену в монастырь не примет», как утверждаете вы с азартом? Это откудова почерпнули вы такое известие? Кто-нибудь, например, имел бы намерение поселиться в монастыре (где есть, например, удобное помещение), но он женат, жена его где-нибудь в столице или за границей, и вот, потому только, что он женат, его гонят вон из монастыря? Так ли это? Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо. Я вам даже смог бы указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор и которые кончили тем, что поселились жить под конец жизни в монастырях и вот уже живут там очень долго, а между тем женаты и жены их живы до сих пор. Все произошло с обоюдного согласия. Так точно поселился жить в монастыре и дьячок г-на Недолина. Уничтожьте только подтасовку пострижения в монахи, с умыслом вами придуманную и чего совсем нет во всей повести г-на Недолина, и вам тотчас же все объяснится. Тут даже лучше, чем с «обоюдного согласия», произошло; тут прямо произошло с соизволения начальства. Я вас, батюшка, имею средства на этот счет в высшей степени успокоить. Предположите, что я навел справки и вот какие получил сведения:

Во-первых, артист-дьячок еще за полгода до поступления в монастырь, когда при прощании с помещиком открылся ему в первый раз, что намерен уйти жить в монастырь, уже и тогда знал, что говорил. Именно потому, что уже сообщил о намерении своему отцу Иоанну, игумену монастыря, который его очень любил, то есть

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru более любил его пение, потому что был чрезвычайный любитель музыки и Софрону из всех сил покровительствовал; даже сам, кажется, и переманивал его жить в монастыре. Дьячок поколебался на предложение помещика ехать за границу и вот почему прождал еще с полгода; но когда кончилось его терпение, ушел в монастырь. Устроить же это было очень легко: отец Иоанн состоял в теснейшей дружбе с епархиальным начальником, а когда два такие лица согласились, то и предлогов не надо. Но наверно был отыскан и предлог, по которому дьячок был, так сказать, «откомандирован» в монастырь. Обет же, данный дьячком, «посвятить себя Господу» (на что вы так особенно сердитесь) был совершенно свободный, внутренний, неофициальный, дело его совести, дан самому себе. Мало того, в рассказе г-на Недолина есть совершенно ясное указание на то, что дьячок только проживал в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как вы с такою бесцеремонностью присочинили, батюшка. Именно: воротившийся помещик все еще уговаривает Софрона выйти из монастыря и отправиться за границу, и дьячок в первый день переговоров даже колеблется. Ну могло ли бы это быть, если б Софрон был уже пострижен? Не маскируйте, наконец, и того, что ведь это был артист неслыханный, по крайней мере одаренный неслыханно, и таким он заявляется в повести с самого начала. А если так, то понятно и такое пристрастие к нему отца Иоанна, страстного любителя музыки...

«Но ведь это не объяснено в повести!» – воскликнете вы в чрезвычайном гневе. Нет, отчасти объяснено; очень о многом можно догадаться из рассказа, хотя он быстр и краток. Но, положим, и не все объяснено, – зачем объяснять? Было бы только вероятно; а уничтожьте подтасовку пострижения в монахи, и все станет вероятно. Да, рассказ г-на Недолина несколько сжат, но знаете, батюшка, вы вот человек не литературный, что и доказали, а между тем я вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если б их сократить. Ну что толку, что автор тянет вас в продолжение тридцати листов и вдруг на тридцатом листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или в Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно с тою целью, чтоб рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши, и, рассказав, вдруг опять бросает и ворон и Молдо-Валахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не возвращается к ним в остальном рассказе; так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении. Из-за денег пишут, чтобы только больше страниц написать! Г-н Недолин написал иначе и хорошо, может быть, сделал.

«Но жена, жена! – восклицаете вы, вращая глазами. – Как же жена позволила и не жаловалась, как „не вытребовала“ она его законом, силой!» А вот тут-то вы, и именно на женском-то этом пункте, всего больше и спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались в вашей статье, что даже сами принялись сочинять роман, а именно как жена своего дьячка наконец воротила и опять начала колотить, как он «сбежал» в другой монастырь, как из другого воротила, как он сбежал наконец на Афон и там уже успокоился под «мусульманским» управлением султана (представьте, а ведь я до сих пор думал, что султан христианин!).

Шутки в сторону; знайте, батюшка, что хоть вам бы и следовало, уже по одному сану вашему, немножко знать сердце человеческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, может быть, если бы взяли за перо, действительно описали бы бытовую сторону духовенства вернее г-на Недолина; но в сердце человеческом г-н Недолин знает более вашего. Женщина, которая целые дни выстаивает у монастырской стены и плачет, не пойдет подавать просьбы и не станет уже действовать силой. Довольно силы! У вас вот все битье да битье; в порыве авторского увлечения вы продолжаете роман, и опять у вас битье. Нет, уж довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя в «Женитьбе», в последней сцене, после того как Подколесин выпрыгнул в окошко, Кочкарев кричит: «Воротить его, воротить!», воображая, что выпрыгнувший в окошко жених все еще пригоден для свадьбы. Ну вот точно так же рассуждаете и вы. Кочкарева останавливает сваха словами: «Эх, дела ты свадебного не знаешь; добро бы в дверь вышел; а уж коли в окно махнул, так уж тут мое почтение». Облагородьте случай с Подколесиным, и он как раз придется к положению бедной, оставленной мужем дьячихи. Нет, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, – этот исключительный характер, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочим, по душевным силам, чем артист, ее муж, – эта женщина под влиянием среды, привычек, необразованности могла действительно начать битьем. Толковому, понимающему человеку тут именно реализм события понравится, и г-н Недолин мастерски поступил, что не смягчил действительности. Слишком сильные духом и характером женщины, особенно если страстны, иначе и не могут любить, как деспотически, и имеют даже особенную склонность к таким слабым, ребяческим

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru характерам, как у артиста-дьячка. И за что она так полюбила его? разве она знает это! Он плачет, она не может не презирать его слез, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: «Не смей петь при господах!» Она бы, кажется, проглотила его живьем из любви. Но вот он бежал от нее, и – никогда бы она тому не поверила! Она горда и самонадеянна, она знает, что красавица, и – странная психологическая задача, – поверите ли, ведь она все время была убеждена, что он точно так же ее без памяти любит, как и она его, без нее жить не может, несмотря на битые! Ведь в этом состояла вся ее вера; мало того, тут и сомнений для нее не существовало, и вдруг ей все открывается: этот ребенок, артист ее нисколько не любит, давно уже перестал любить, может быть, никогда не любил и прежде! Она вдруг смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться от него все-таки не в силах, безумно любит, еще безумнее, чем прежде. Но так как характер сильный, благородный и необыкновенный, то и вырастает вдруг неизмеримо и над прежним бытом, и над прежней средой своей. Нет, уж теперь она его не потребует силой. Силой ей его теперь и даром не надо; она все еще неизмеримо горда, но гордость эта уже другого рода, уже облагородилась: она скорее умрет с горя тут же, в траве у ограды, а не захочет употребить насилие, писать просьбы, доказывать права свои. Ах, батюшка, да ведь в этом и вся повесть, а вовсе не в бытовой стороне церковников! Нет, батюшка, этот крошечный рассказик гораздо значительнее, чем вам кажется, и поглубже. Повторяю, вы так не напишете, даже не поймете в чем дело. У вас отчасти душа кочкаревская (в литературном отношении, разумеется, – далее я не иду), как и имел я вам честь заметить...

Что же касается до сочинительства вашего и до понимания художественного, то к вам в этом отношении вполне, я думаю, можно приложить известную эпиграмму Пушкина:

Картину раз высматривал сапожник,  
И в обуви ошибку указал;  
Взяв тотчас кисть, исправился художник.  
«Вот», подбочась, сапожник продолжал:  
«Мне кажется, лицо немного криво...  
А эта грудь не слишком ли нага?»  
Но Апеллес прервал нетерпеливо:  
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Вы, батюшка, точь-в-точь как этот сапожник, с тою только разницею, что даже и в обуви не сумели указать г-ну Недолину, что, надеюсь, я вам и доказал основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тут, видите ли, чтобы понимать что-нибудь в душе человеческой и «судить повыше сапога», надо бы побольше развития в другую сторону, поменьше этого цинизма, этого «духовного» материализма; поменьше этого презрения к людям, поменьше этого неуважения к ним, этого равнодушия. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше веры, надежды, любви! Посмотрите, например, с каким грубым цинизмом обращаетесь вы со мной лично, с каким совсем несвойственным вашему сану неприличием говорите о чудесах. Верить не хотел, когда прочел у вас следующее про себя: «...но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, – тогда это другое дело...»

Во-первых, батюшка, вы и тут сочинили (экая ведь страсть у вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявлял я о себе лично ничего о вере моей в чудеса. Все это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли? Позвольте еще: если б я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе (чего не было), то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страха или страху ради Касторского. Просто-запросто ничего подобного не было, и я только констатирую факт. Но если бы и было – что вам-то до веры моей в чудеса? Чем они подходят к делу? И что такое мудреные чудеса и немудреные? Как уживаетесь вы с подобными разделениями сами? Вообще же желаю, чтобы в этом отношении вы оставили меня в покое – уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим все к вам не идет, несмотря на все современное просвещение ваше. Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г-н Касторский

\* \* \*

А знаете, ведь вы вовсе не г-н Касторский, а уж тем более не священник Касторский, и все это подделка и вздор. Вы ряженный, вот точь-в-точь такой, как на святках. И, знаете, что еще? Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыл в обмане; тотчас же узнал ряженого и вменяю себе это в удовольствие, ибо вижу



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru отсюда ваш длинный нос: вы вполне были уверены, что я шутовскую маску, вывесочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвечал вам немного уже слишком развязно единственно потому, что сейчас же узнал переряженного. Если бы вы были в самом деле священником, я, несмотря на все ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинарского ржання, все-таки ответил бы вам «с соблюдением», – не из личного к вам уважения, а из уважения к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается. Но так как вы всего только ряженный, то и должны понести наказание. Наказание начну с того, что объясню вам подробно, почему вас узнал (между нами, я даже предугадал, кто именно под маской скрывается; но имя вслух не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это вам, естественно, будет очень досадно...

– А если предугадали, то почему же отвечали как священнику, – спросите вы, – к чему написали предварительно столько лишнего?

– А по платью встречают, – отвечаю я вам, – и если написал что-нибудь неприятное г-ну «священнику», то уж пусть возьмет это на свою совесть тот господин, который выдумал и употребил недостойный прием перерядиться в священника. Да, недостойный прием, и он сам это чувствовал. Мало того, он, сколько мог, оберег себя. Он не подписался «Священник П. Касторский», а подписался сокращенно: «Свящ. П. Касторский». Свящ. все-таки не священник, если уж крепко обличат. Всегда можно сказать, что подразумевался «священнолюбец» или что-нибудь в таком роде.

Я узнал вас, г-н ряженный, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большую часть, смахивают на вывесочных маляров, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженный, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставить купцов, мужиков и проч)., обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характеристиками сплошь, по записанному, – и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете.

И большую частью работа вывесочная, малярная. Между тем «художник» считает себя под конец за Рафаэля; и не разуверишь его! Записывать словечки хорошо и полезно и без этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять их совсем механически. Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все-таки избежать не может. Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное – золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало веры. Чувство меры уже совсем исчезает. Взять и то, наконец, что наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большую частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно. с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, что это новое, а не преходящее. Впрочем, подобное замечание для нашего писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не поймет. Но я все-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип современно и подает его своевременно; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам.

Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тем если б дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. Простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверно говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник, например, говорит почти безо всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его, а потому и не поместит его в свою повесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника, при известных обстоятельствах и в известной среде, заставит говорить иногда как священника начала столетия и тоже при известных обстоятельствах и известной среде.

Священник Касторский начинает, как и все, некоторое время почти совсем не напоминая собою известной среды.

Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит, как и все, безо всякой характерности словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору: надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее, а порицание г-ну Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор, сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз. Что ни слово, то типичность! Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная.

Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды, – это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия. «...А потому проходить такие вредные покушения...», «...невежество, обличенном опять в том же журнале...», «...в нем представлен голосистый дьячок...» и т. д. Последнее словцо голосистый уже слишком грубо, и именно тем, что Свящ. Касторский, желая выразить понятие о лице, одаренном прекрасным голосом певца, думает, что выражает это понятие словом «голосистый». Автор-специалист забыл, что хотя в священнической среде и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой уж степени не понимающих значения слов. Это годится для романа, г-н ряженный, а действительности не выдерживает. Такое ошибочное выражение прилично было бы разве пономарю, а все же не священнику. Не слежу за всеми выражениями далее; повторяю, их там целый воз, чрезвычайно грубо натасканный из тетрадки. Но хуже всего то, что типичник-автор (если говорят о художнике-авторе, то возможно понятие и о ремесленнике-авторе, а слово типичник определяет ремесло или мастерство), что типичник-автор выставил свой тип в таком непривлекательном нравственном виде. Надо бы выставить все-таки в Свящ. Касторском – человека с достоинством, добродетельного, и типичность ничему бы тут не помешала. Но типичник был сам поставлен в затруднительное положение, из которого и не сумел вывернуться: ему непременно надо было обругать своего собрата-автора, наглумиться над ним, и вот свои прекрасные побуждения он, переряженный, поневоле должен был навязать своему священнику. А уж насчет чудес – типичник совсем не сдержал себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо – да еще глумится над чудесами и делит их на мудреные и немудреные! Плохо, г-н типичник.

Я даже думаю, что и «Псаломщик» – произведение того же пера: очень уж перенаивничал неумелый мастеровой в окончании, именно в «опасениях» Псаломщика, которые слишком уж не блистают умом. Одним словом, господа, вся эта вывесочная работа, положим, еще и сойдет в повестях, но, повторяю вам, не выдержит столкновения с действительностью и тотчас же обличит себя. Не вам, господа-художники, надуть старого литератора.

Что же это, шутки, что ли, с их стороны? И, нет – нет, вовсе не шутки. Это – это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование. Не смей, дескать, заходить на нашу ниву. И чем мог вам повредить, господа, г-н Недолин? Уверяю же вас, что он вовсе не имеет намерения описывать бытовую сторону духовенства, можете вполне успокоиться. Правда, смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство: ведь если ряженный типичник напал на г-на Недолина, то, ругая его, в противоположность ему должен бы был хвалить самого себя (на этот счет у этих людей нет ни малейшего самолюбия: с полнейшим бесстыдством готовы они

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru писать и печатать похвалы себе сами и собственноручно). А между тем, к величайшему моему удивлению, типичник выставляет и хвалит талантливого г-на Лескова, а не себя. Тут что-нибудь другое, и, наверное, выяснится. Но рязеный не подвержен ни малейшему сомнению.

А причем же тут сам «Русский мир»? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает с чего вскочут люди.

#### XI. Мечты и грезы

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени – *argis moi le d'ŷluge*. Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит – гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не естественно выходит. Опешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже – что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению – обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороше. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, – в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какую-нибудь всесожигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, – взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется; но.. повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии Г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смылит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не делается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельную жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельной. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники – это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, – и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности – один только квас, квас и квас, и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, – стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашу платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? Это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru главное) и в довершение – дешевку и жида. Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того – для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным – вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но... если в текущие десять, пятнадцать лет склонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то – не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? Ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общиной, а жида и кулаки будут выплачивать за них бюджет. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных им нищих рабов – вот картина! Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная, и – слава богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника Поприщина, я с этим согласен. Но не сбьется ему! Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, – вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но – не только бы не помешали им развиться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив – о, если бы их поддержать! Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича, в этом даже лестно признаться), но мне – представьте себе – мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большую часть приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом – или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случалось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль – напомню ее – в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня  
есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю  
раньше повести...

XII. По поводу новой драмы

Эта новая драма – драма Г-на Кишенского «Пить до дна – не видать добра», которой  
три последние акта мы решились поместить в этом 25-м номере «Гражданина» разом,  
несмотря на то, что она заняла у нас чуть не половину места. Но нам хотелось не  
дробить впечатления, и, может быть, читатели согласятся, что драма стоит даже  
особого их внимания. Она написана для народного театра и написана с знанием  
дела, с отчетливостью и несомненным талантом – а это главное, особенно теперь,  
когда почти не является новых талантов.

Это все типы фабричного быта, «фабричного села» – чрезвычайно разнообразные и  
твердо очерченные. Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль  
серьезная и глубокая. Это вполне трагедия, и *fatum* ее – водка; водка все  
связала, заплонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный художник,  
не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии  
своей драмы, что тема его – «пить до дна – не видать добра». Тут, кроме того,  
отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение после  
огромной реформы нынешнего царствования. Преведный мир, преведный порядок – очень  
худой, но все же порядок – отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные  
нравственные стороны преведного порядка – эгоизм, цинизм, рабство, разъединение,  
продажничество – не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы  
усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон  
преведного быта, которые все же были, почти ничего не осталось. Все это отозвалось  
и в картине Г-на Кишенского, по крайней мере, как мы ее понимаем. Тут все  
переходное, все шатающееся и – увы – даже и не намекающее на лучшее будущее.

Автор с энергией указывает на образование как на спасение, как на единственный  
выход; а покамест – все захватила водка, все отравила и направила к худшему,  
заплонила и поработила народ. Мрачную, ужасную картину этого нового рабства, в  
которое вдруг впал русский крестьянин, выйдя из преведного рабства, и рисует Г-н  
Кишенский.

Тут два сорта типов – людей отживающих и новых, молодого поколения.

Молодое поколение знакомо автору. Типы, излюбленные им, указываемые им как на  
надежду будущего, составляющие сияние мрачной картины, вышли довольно удачны  
(что очень странно, ибо «положительные» типы почти совсем не удаются нашим  
поэтам). По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иван, жених ее, удался  
несколько менее, несмотря на всю верность его изображения. Это парень молодой,  
красивый, смелый, грамотный, довольно видевший и узнавший нового, добрый и  
честный. Весь недостаток его в том, что автор немного слишком полюбил его,  
слишком положительно его выставил. Отнесись он к нему поотрицательнее – и  
впечатление читателя вышло бы более в пользу излюбленного им героя. Правда, как  
тонкий художник, автор не миновал и самых невыгодных черт характера своего  
Ивана. Иван с сильной энергией и с сильными умственными способностями, но молод  
и заносчив. Он великодушно верует в правду и в правый путь, но правду смешивает  
с людьми и несправедливо требует от них невозможного. Он, например, знает иные  
законы, так что писарь «Леванид Игнатьич» побаивается прямо нападать на него, но  
слишком простодушно верует в свое знание, а потому не вооружен перед злом и не  
только не понимает опасности, но и не предполагает ее. Все это так натурально и  
вышло бы прекрасно, потому что так и должно ему быть. Мало того, автор не  
упустил множества самых симпатических подробностей: Ваня, понимая всю мерзость  
негодяев (вдобавок еще враждебных ему), как молодой человек, свежий, сильный и  
которому все так еще любо на свете, недостаточно гнушается ими, с ними водится,  
с ними песни поет. Эта молодая черта привлекает к нему читателя чрезвычайно. Но,  
повторяем, автор слишком его полюбил и не решается ни разу посмотреть на него  
свысока. Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица;  
надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему  
художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом,  
довольствуясь одною его реальною правдой: правды в впечатлении не выйдет.  
Немного бы, капельку лишь иронии автора над самоуверенностью и молодою  
заносчивостью героя – и читателю он стал бы милее. А то думаешь, что автор так и  
желал изобразить его совершенно правым во всем обрушившемся на него несчастии.

Другие лица молодого поколения – лица, погибшие чуть не с детства, «поколение

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru «пожертвованное», – вышли еще вернее «положительных» типов. Их два сорта: невиноватые и виновные. Тут, например, есть одна девочка (Матреша) – создание жертвованное и несчастное, и, что ужаснее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, бездна. Верность этого изображения заставит человека с сердцем и смотрящего в наше будущее сознательно – ужаснуться. Это поколение, поднявшееся уже после реформы. В первом детстве оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затем попало прямо на фабрику. Бедная девочка! Она развратничает, может быть, уже с двенадцатилетнего возраста и – почти не знает сама, что развратна. На рождество она с фабрики приехала на побывку в село и искренно удивляется, как может прежняя товарка ее, деревенская девушка Маша, предпочитать честь нарядам: «Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! – говорит она. – Велика беда, што купец аль господин с девкой поиграет». Это говорит она с совершенным убеждением в истине и правоте своей, мало того: жалея Машу и деревенских; когда Маша отталкивает подлеца купчишку, она говорит прямо: «Охота тебе с эвим народом толковать! Сипы! На ее таперича месте другая порадовалась бы! Так бы их облистила, приняла б, и себе-то припент принесла и брату угодила!» И наконец, когда эта несчастная подсыпает сонного зелья Маше, сговорясь с купчишкой, чтоб в бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь смотреть, заснула ли жертва, она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, прежней подруге своей, добро, благодеяние, за которое та, спустя, благодарить будет. В пятом акте, в последней ужасной катастрофе – ни отчаяние Маши, отца ее, жениха, ни убийство, готовое совершиться, – ничто не смущает ее; да и сердца совсем у ней нет, – где же было развиться ему? Она пожимает плечами и говорит свое любимое слово: «необразованность». Автор не забыл этого восклицания, доканчивая последнюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! человеческое существо обращено в какого-то гнилого червячка и совершенно довольно собой и жалким своим кругозором.

Тут среда, тут *fatum*, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но вот другой тип – самый полный в драме – тип развратного, испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за триста рублей и за бархатную поддевку, – это, о, это уже тип из виновных «пожертвованного» поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как Матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она, а с любовью, он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое неразврат; но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает старый порядок семьи и обычая; он глуп и туп, это правда, но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как Матреша, в которой все такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает, и не может понимать, что он уже не «мира сего» и с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести и наутро является в отцовскую избу, на сцену отчаяния, в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит как в всемогущество; это – водка. С самой тупой, но верной хваткой он перед всяким начинанием выставляет водку – горькую мужикам и сладкую бабам, уверенный, что все по его сделается и что водка все может. В нем, к полноте иронии, в изображении его, рядом с полным цинизмом уживается потребность прежних вежливых манер, исконной деревенской «учливости». Прибыв в село и еще не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посылает ей из кабака сладкой водки. Когда он и Матреша привлекают мать в кабак, чтоб на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасилование, он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учливостью». Нашего автора упрекали иные, читавшие первый акт, за слишком уж натуральный мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой натуральностию языка и мы недовольны; все должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах по крайней мере, не ослабив ее характерности. Это «пыжалте, мамынька-с» не могло быть изменено: вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою «мамыньку» сынок уважает столько же, сколько свою подошву.

Вот трагические слова отца этой семьи, пьющего старика, про это «пожертвованное поколение»:

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
«Захар (выпивает стакан водки). Пьяницы! Вы таперь подумайте, други: сидит этта фабришный целую неделю за станом, ноги-то, руки-то занемяют, в голове словно туману напущено! словно шальные все! и виду-то чельчьего-то нет! В хоромине-то духота, стены голые – не глядел бы! солнышко в ино место не заглянет! только и видишь его што по праздникам! Ну, други, придет этта праздник: ты, дед, писание станешь читать, другой в поле хлеб поглядеть пойдет, аль в лес, аль к пчелам, аль с суседями толковать – земство, значит, аль сходка, аль о ценах хлебных – скажи, куда фабришному-то идтить? о чем ему говорить-то? у него все отмеряно, да взвешено! Разве о том, что штрафы пишет незнамо за што, да провизию отпускает гнилую, да за рублевый чай берет два с полтиной, за ворота не пускает, штоб провизию у него брали да штоб разврату боле было! об эвтом разве! ну, значит, одна и дорога в кабак! один разговор-от о водке да распутстве.

Василий. Это точно!

Захар. Вы подумайте други, ведь тоже отдохнуть хоцца! тоже молодость! соберется хоровод, песни, смех – хожалый разгонит! ну все гурьбой и в кабак да трахтир! И пойдут толки о девках да кто кого перепьет! И глянь-ка, што творится на фабриках-то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку хлыщут что воду! на фабрике-то матершинничество, ахальничество – стон стоит, ад крусешный! дети от больших занимаются! На пагубу ребят своих мы туда, отдаем! Есть ли хоша одна девка без распутства, один парень не пьяница – на фабриках-то?»

\* \* \*

Но самая характерная из всех сцен этой народной драмы – это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка – это все, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, – и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись – пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми.

На этой сходке происходит возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону единственного сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников, и, что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычаю, делается за вино, за деньги. Тут даже и не подкуп; подкуп бы еще ничего; подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет, тут все почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: «С угарцем-то будет лучше судить», – зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти, Можно и должно вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вы чувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого захочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формальности прямо и перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека; все «ослабели»; ожирели сердца; всем хочется сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкой, но как на устарелую дичь, именно как на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых вдобавок всегда купить можно. Так стоит и так ведет себя на сходке Степан, тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Ваньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкина приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, «вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала, а что если приговорят по его, то за это его степенство, купец, много штрафов народу простит». Дело, разумеется, разрешается



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
в пользу купца, и Ваньку отдадут в солдаты.

Тут на сходке (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагические лица; один – Наум Егоров, старик, уже двадцать лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч – старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе; нет, чувством он возвысился до понятия самого широкого: приговор хотя бы только сходки села его для него как бы часть приговора всей крестьянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. Неправда, злодеяния, конечно, бывали и на прежних сходках, двадцать лет назад; но неуважения к сходке самих членов ее, неуважения к собственному делу не было, по крайней мере, не возводимо было в принцип. Делали подлое, но знали, что делают подлое, а что есть хорошее; теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его. Но все-таки Наум, этот своего рода последний могикан, продолжает верить в правду мирскую во что бы ни стало, чуть не насильно, – и в этом трагизм его. Он формалист; чувствуя, что содержание ускользает, он стоит тем крепче за форму. Видя, что мир пьян, он попросил было отложить сходку, но когда закричали, что с «угарцем лучше судить», он покоряется: «Мир решил, против мира нельзя идти». Он слишком хорошо и с страданием понимает про себя, что в сущности наемный их писаришка Леванид Игнатьич значит все, и что купцов приказчик как прикажет сходке решить, так она и решит. Но старик все еще, пока время, хоть насильно да обманывает себя; он прогоняет Леванида с первого места и, как председатель сходки, читает приказчику наставление за невежливые слова его против мира.

За Ваньку подымается несколько правдивых голосов, хвалят его, говорят, что парень хороший, толковый, миру нужный, что такого бы приберечь, и вот вдруг между другими раздается голос одной старой, хмельной головы: «Ну, он лучше всех – во его и в рекруты!» Это уже насмешка над правдой сознательная, щегольство неправдой, игра... Сам над собою шутит судья, да еще в таком деле, как судьба человеческая! Наум слышит и, конечно, понимает, что кончается его «мир». Тут стоит мать Ивана. Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Как вдову, ее притесняли, ее мир обижал. Но она выдержала все, поправила домишко, подняла своего единственного ненаглядного Ваню на радость, на утеху себе и вот – слушает теперь, как мир отнимает у нее последнюю надежду, последнюю радость ее, сына. Наум Егорыч, предчувствуя хмельное, буяное решение мира, говорит поскорей Степаниде: «Эхма, а делать неча! мир сила! Проси, Степанида, проси мир-от!» Но та не хочет просить. Та строптиво укоряет мир в неправде, в подкупе, в пьяном решении, в зависти к ее Ване. «Ты, Степанида, хуже мир-от злобишь!» – тревожно восклицает Наум. «Аль ты думаешь, Наум Егорыч, – отвечает ему Степанида, – кали б я видела, што тут закон да совесть, – тут водка! Кали б я знала, што тут умолить можно, да я колени свои стерла бы о сырую землю, пол-от вымыла б в избе слезьми своими, голову б расшибла б, миру кланяючись! Да тут не упросишь, не умолишь! Разе ты не видишь – тут все подстроено да подлажено! Сгубят они, вороны, ясного сокола, заклюют! За водку продаете вы души-то свои – во кому вы молитесь – водке! Кто больше поднес – тот вас и купил. Обидел вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, што купчина-то пьяный лез порочить невесту Ванюхину! Да вы эвто знаете! Водка-то купчины хороша! Страмники вы, кровопивцы, и то в вину поставили, что сироту бесприютного во двор взяла! Да не быть по-вашему! Не быть! Посредственник Ванюшу знает – в обиду не даст! (быстро уходит)».

Эта гордая женщина – одно из очень удавшихся нашему поэту лицо. Как хотите, господа, а это сильное место. Это, конечно, русская деревня, а лицо – простая баба, которая грамотно и говорить не умеет, но, ей-богу, этот монолог о стертых коленках, «если б тут умолить было можно», стоит многих высоких мест в иных трагедиях в этом роде. Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз Рашели, но, уверяю вас, если б у нас была наша Рашель, вы содрогнулись бы в театре от этой сцены материнского проклятия мирскому суду, от всей этой неприкрашенной правды ее. Сцена кончается многозначительным движением – бегством за правдой к «посредственнику», с жалобой ему на мирской приговор, а это тяжелое пророчество.

Указывать далее на все лучшие сцены этого произведения почти излишне. Но не могу не поделиться впечатлением и прямо скажу: редко что читал я сильнее и трагичнее финала четвертого акта.

Жертва, запроданная матерью и братом купцу, уже опоена зельем и заснула в бесчувствии на печи. Матреша, эта невинная преступница, лезет на печь поглядеть и почти с радостью, почти убежденная, что теперь осчастливила Машу, возвещает купчишке: «Готова! Не пошевельнется, хоть на куски изрежь!» Писаришка Леванид, товарищ купчишки, встает и уходит: «Жизнь вам, купцам-то!» – говорит он завистливо. И вот купчишка, перед тем как лезть к своей жертве, приходит в какой-то поэтический пафос: «Потому мы теперь сила! – восклицает он плотоядно-пророчески. – Што хотим, то и можем сделать! Если теперь купец чево вздумал – то и сделал – потому сила!» «Сила – чаго и толковать!» – поддакивает брат жертвы. Затем лишние выходят из избы, негодяй лезет к Маше, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невесту несчастного Вани, в пьяном бесчувствии тут же валится на пол и засыпает в ногах пьяного без просыпу отца этого счастливого семейства... «Пить до дна – не видать добра!»

Не указываю на все эти поражающие своею дальнейшей правдой черты ужасной картины, – на этих преступников, почти не понимающих своего преступления; на понимающих, но уже не имеющих права проклясть его, как пьяный отец семьи, например, которому дочь трагически бросает в глаза обвинение и дочернее свое проклятие... Есть черты, чрезвычайно тонко замеченные: эта очнувшаяся Маша, в первые минуты хотевшая убить себя, надевает, однако, оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафан, но надевает из злорадства, для мучения, для того чтоб истерзать себя еще больше: вот, дескать, сама теперь потаскухой стала! Вот разговор «невинной» матери и «невинной» Матрешы на другой день после беды:

«Матрешка (входит). Здорово, тетка Арина! Што у вас тут дееется? Вчера-то я, признаться, и побоялась прийти-то к вам!

Арина. И-и-и, девынька, што страхов-от натерпелись! страсти! Как поутру-то узнала девка, схватила нож да нас-то маненько не перерезала, а потом себя! уж насили, насили мы с ней сладили! Степку теперь на глаза не пушает!

Матрешка. Сказывал он мне!

Арина. Ну, к вечеру-то, знать, отпустило ее, – стала она теперь словно камень! Бог, говорит, меня, говорит, наказал за Матрешку, таперь – говорит – сама така ж! Ноне, девынька, дала я ей сарахан-от, што Силантий Савельич у тебя ей-то купил, она надела, – Матрешкой, говорит, стала, ее и сарафан надеть! во што!

Матрешка. Где ж она теперь?

Арина. И-и-и, девынька, уйдет в сарай, зароеется в солому да ничком и лежит!

Матрешка. Как бы рук на себя не наложила сгоряча-то!»

Но жертва не наложила на себя рук: «страшно стало» потом-то, говорит она сама. Наш поэт богат психологическим знанием народа. Вот и Ваня, являющийся внезапно от посредника, к которому на сутки отлучился. Поэт не пощадил своего героя для реальной правды: Иван в первое мгновение, в бестийной ярости, обвиняет одну Машу, он несправедлив и отвратителен, но, поняв наконец, как было дело, он как бы невольно предложил было Маше идти за него и так. Но автору слишком хорошо известно, что в нашем народном быту это почти немисливо, если только дело носит честный характер. Обещанная девушка, хоть и обманом, хоть и без вины, считается все-таки уже нечистой, если не совсем бесчестною. Да и сама Маша горда: «Не марайся об меня, Ваня! – кричит она. – Уйди!» «Прощай, Ваня!» – и затем, в последнем монологе, быстро подходит к столу, наливает стакан водки, обводит всех горячим взглядом и с отчаянным, злорадным вывертом кричит: «Ну, што же приуныли? Радуйтесь, ваше дело! Матушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не один ты, батюшка, будешь по кабакам-то шляться! с дочкой! Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоем теперь, с дочкой! Заливай вино! потопа ты мое горе, мою совесть!»

И подносит стакан к губам. Тем кончается драма.

\* \* \*

Не говорю, что тут совсем нет ошибок; но в этом произведении так много истинных достоинств, что ошибки эти почти ничтожны. Например, тон Маши в монологе четвертого акта, который заканчивает она прелестным, высоким душевным движением:

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru «Теперь легко таково стало!» – этот тон немного уж слишком певуч. Правда, это почти не монолог, а дума, чувство, – те самые думы и чувства, под влиянием которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. Поэтому и дума Маши, по существу в высшей степени верная и натуральная, могла выйти по форме своей несколько как бы лиричною. Но у искусства есть пределы и правила, и монолог мог бы быть покороче. Может быть, не совсем верен и тон Маши в конце драмы, уже после катастрофы: лучше было бы, если б она говорила капельку менее. Ужасные слова ее отцу гораздо бы сильнее выдались, если б тоже были покороче и не так певучи. Но все это поправимо, автор очень может исправить это во втором издании, и, повторяем, сравнительно с бесспорными достоинствами его произведения все это почти мелочи. Хорошо еще, если б автор выбросил из своей драмы совсем появление в конце ее (и вовсе ненужное) добродетельного старика фабриканта, толкующего чуть ли не о наших «долгах народу». Появление его тем более нелепо, что это тот самый фабрикант, который закабалил весь окрестный люд, замучил произвольными штрафами и кормит работников гнилою пищею. Наконец, сам хозяин дома, Захар, вышел несколько неясен. В собственном объяснении его, отчего он запил, есть как бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое; меж тем дело могло быть выставлено гораздо проще и натуральнее.

Впрочем, это только мое мнение, и я могу ошибиться, но уверен, что не ошибаюсь в твердых достоинствах этого серьезного произведения. Мне слишком приятно было поделиться моим впечатлением с читателями. Серьезнее ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время...

### XIII. Маленькие картинки

1.

Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались. На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей... Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанном песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным – право, ощущение как будто похуже. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого...

На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на тень. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят, – лавируешь, присматриваешься, лучаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим, в два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня перед рождеством например, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону Полицейского моста, и радуешься, что уже не боишься их; топот и грохот и сильные окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться: вы только достигли середины опасного перехода, а дальше – риск и полная неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать уж некогда, и к тому же этот адский туман: слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. «Куда деваться? Вперед или назад? Успею или нет?» И – благо вам, что остались; из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда – пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера, и – все мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики – все исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение! Вы креститесь и, уже почти презирая второй ряд экипажей, так путавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления и – странно – ощущая в то же время неизвестно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю, и к тому же в наш век бесполезное, тем более что надо бы было, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо рысак в высшей степени не либерален, напоминает гусара или кутящего купчика, а стало быть, неравенство, нахальство, la tyrannie и т. д.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
Знаю ж, не спорю, но теперь я хочу лишь закончить. Итак, на днях с привычною зимнею осторожностью стал было я переходить через Невский проспект и вдруг, очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился на самой середине перехода: никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи дрожки! Место пусто сажень на пятьдесят в обе стороны, хоть остановитесь рассуждать с приятелем о русской литературе – до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Все больше отделяют фасады со старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мне эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, – именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он; в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перевернуто. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идей, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церковей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном в прошлое царствование тип древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий – больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия, – это стиль времени Наполеона Первого – огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. Вот потом дома, или почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свои целые поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же поставили наши палаццо всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян... Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццох прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы – это уже деловитость, американизм, сотни номеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми. А теперь, теперь... право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупое выстроенных, с изумительною архитектурю фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно оль-де-бефы и непременно пять этажей, и все это в одном и том же фасаде. «Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно окном, а этажи чтобы этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться». Впрочем, я не петербургский фельетонист и не об том совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело.

2.

Пыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. В Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь, один-одинешенек – это лучше, чем свежий воздух увеселительных петербургских садов. К тому же и в городе открылось вдруг множество садов, там, где их вовсе не подозревали. Почти на каждой улице встретите теперь, при входе в какие-нибудь ворота, иногда заваленные известкой и кирпичом, надпись «Вход в сад трактира». Там, на дворе, где-нибудь перед старым

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru флигельком был лет сорок назад отгорожен какой-нибудь палисадник, шагов десяти длиною и пяти шириною; ну вот это-то и есть теперь «сад трактира». Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди белого.. вечера, как я сам это видел? Не думаю. Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натываются на людей – не от буянства, а так, потому что пьяному нельзя не наткаться и не давить; сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, – не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было – il faudrait l'inventer. Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесяттеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле – именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся – лезешь фильку ругать! И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподымая руку, кричит... «Эврика», вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не «показалось», и он мигом осаживает молокососный восторг паренка, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем. «Помилуйте! – закричал я им вдруг, ни с того ни с сего (я был в самой середине толпы). – Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамеж! Ну, не стыдно ли вам?»

Все вдруг на меня уставились, как смотрят на нечто совсем неожиданное, и на миг замолчали; я думал, выругают, но не выругали, а только молоденький паренек, пройдя уже шагов десять, вдруг повернулся ко мне и на ходу закричал:

– А ты что же сам-то семь раз его поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал?

Раздался взрыв хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне.

3.

Нет, я не про этих гуляк говорю, и не от них мне так особенно грустно по воскресениям. Я недавно с большим удивлением открыл, что есть в Петербурге мужики, мещане и мастеровые совершенно трезвые, совсем ничего не «употребляющие» даже и по воскресениям; и не это собственно меня удивило, а то, что их несравненно, кажется, больше, чем я предполагал до сих пор. Ну вот на этих-то

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru мне смотреть еще грустнее, чем на пьяных гуляк, и не то чтоб от сострадания к ним; вовсе нет и причины им сострадать; а так приходит в голову все какая-то странная мысль... По воскресениям к вечеру (по будням их совсем не видать) очень много этого всю неделю занятого работою, но совершенно трезвого люда выходит на улицы. Выходит именно погулять. Я заметил, что на Невский они никогда не заходят, а так все больше прохаживаются около своих же домов или идут «прохладно», возвращаясь с семействами откудова-нибудь из гостей (семейных мастеровых тоже, кажется, очень в Петербурге много). Идут они степенно и с ужасно серьезными лицами, точно и не на прогулке, очень мало разговаривая друг с другом, особенно мужа с женами, почти совсем молча, но всегда разодетые по-праздничному. Наряды плохи и стары, на женщинах пестры, но все вычищено и вымыто к празднику, нарочно, может быть, к этому часу. Есть которые и в русских платьях, но много и в немецких и бреющих бороду. Досаднее всего, что они, кажется, действительно и серьезно воображают, что, этак прохаживаясь, доставляют себе несомненное воскресное удовольствие. Ну какое бы, кажется, удовольствие на этой широкой, оголенной, пыльной улице, пыльной еще после заката солнца? То-то и есть, что им и это кажется раем; всякому, значит, свое.

Очень часто они с детьми; детей тоже очень много в Петербурге, а еще говорят, что они в нем ужасно как мрут. Все эти дети, как я заметил, большею частью всегда почти маленькие, первого возраста, едва ходят или совсем еще не умеют ходить; не потому ли и так мало детей постарше, что не доживают и умирают? Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребенком, с мальчиком, – одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному: немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука; панталоны «случайные», из третьих рук с толкучего рынка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстук, шляпа цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребенка он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик, в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе. Он устал; отец ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять, и отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его шею правой ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть на меня: чего, дескать, я иду за ними и так смотрю? Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие.

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него, всего только с месяц тому, умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматривает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а может быть, всего только угол. Теперь же, в воскресенье, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-офицером с нашивкой и живет непременно в каком-нибудь огромнейшем казенном доме, и тоже в подвальном этаже, но особнячком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но все время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой специальный пункт, но и о нем скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик все время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тетка и муж ее мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем наконец-таки дали, причем хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из комнаты... Простились так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с Выборгской на Литейную. Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-ходишь и все этикие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения. Никакого в этом нет толку, и «ничего поучительного нельзя извлечь».

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Оттого и берет хандра по воскресениям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!

Правда, и в будни выносят детей во множестве, но по воскресениям к вечеру их является на улицах чуть не вдесятеро более. Какие все испытые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, которые уже ходят, – все с кривыми ножками и все на ходу сильно колыхаются из стороны в сторону. Почти все, впрочем, тщательно приодеты. Но, боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весной на дереве: ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи, и вот вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе – пыль, кирпич и известка.

Но они любят своих бледных и худосочных детей. Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в свежем платьице, спешит к матери, которая сидит у ворот в большом обществе, сошедшемся со всего дома часок-другой поболтать. Мать болтает, но глазом наблюдает ребенка, играющего от нее в десяти шагах. Девочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушек, и неосторожно наступила на свой подол ножками и вот никак распрямиться не может, раза два попробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было к ней на помощь, но я поднял девочку раньше. Она выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрела, еще со слезинками на глазах, и вдруг бросилась, немного в испуге и в детском смущении, к матери. Я подошел и учтиво осведомился, сколько девочке лет; мать приветливо, но очень сдержанно мне ответила. Я сказал, что и у меня такая же девочка; на это уже не последовало ответа: «Может, ты и хороший человек, – молча глядела на меня мать, – да только что ж тебе тут стоять, проходил бы мимо». Вся разговорившаяся публика тоже затихла и тоже как будто это же самое думала. Я притронулся к шляпе и прошел мимо.

Вот другая девочка на бойком перекрестке отстала от матери, которая до сих пор ее вела за руку. Правда, бабенка вдруг увидела шагах в пятнадцати от себя товарку, пришедшую ее навестить, и, надеясь, что ребенок знает дорогу, бросила его ручку и пустилась бегом встречать гостью, но ребенок, оставшийся вдруг один, испугался и закричал, в слезах догоняя мать.

Седой и совсем незнакомый прохожий мещанин с бородой вдруг останавливает на дороге незнакомую ему бегущую женщину и схватывает ее за руку:

– Чего разбежалась! Вишь, ребенок сзади кричит; так нельзя; испужаться может.

Бабенка хотела что-то бойко ему возразить, но не возразила, одумалась; безо всякой досады и нетерпения взяла на руки добежавшую к ней девочку и уже чинно пошла к своей гостье. Мещанин строго выждал до конца и направился своей дорогою.

Пустые, самые пустые картинки, которые даже совестно вносить в дневник. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнее.

#### XIV. Учителю

За прошлые мои три маленькие картинки («Гражданин», № 29) московский фельетонист обругал меня в нашем петербургском «Голосе» (№ 210), кажется из целомудрия, за то, что я в картинке № 2, заговорив о сквернословном языке нашего хмельного народа, упомянул, уж конечно не называя прямо, об одном неприличном предмете... «Мне и в голову не могло прийти, до чего может дописаться фельетонист, когда у него нет под рукой подходящего матерьяла», – говорит обо мне московский мой обличитель. Итак, выходит, что я прибегнул к неприличному предмету единственно для оживления моего фельетона, для сока, для кайенского перцу...

Вот это мне грустно; а я-то даже думал, что заключат из моего фельетона именно противоположное, то есть что из огромного материала я вывел мало. Я думал, что название спасет меня: маленькие картинки, а не большие, с маленьких не так спросят. Я и набросал лишь несколько грустных мыслей о праздничном времяпрепровождении чернорабочего петербургского люда. Скучность их радостей, забав, скучность их духовной жизни, подвалы, где возрастают их бледные, золотушные дети, скучная, вытянутая в струнку широкая петербургская улица как место их прогулки, этот молодой мастеровой-вдовец с ребенком на руках (картинка истинная) – все это мне показалось матерьялом для фельетона достаточным, так

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно в обратном смысле, то есть что я мало из такого богатого матерьяла сделал. Меня утешало, что я хоть намекнул на мой главный вывод, то есть что в огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной духовной обстановке, есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется любовь к семье, к детям. Меня особенно поразило, что они так действительно и даже с нежностью любят своих болезненных детей; я именно обрадовался мысли, что беспорядки и бесчинства в семейном быту народа, даже среди такой обстановки, как в Петербурге, все же пока исключения, хотя, быть может, и многочисленные, и думал поделиться этим свежим впечатлением с читателями. Я как раз прочел перед тем в одном фельетоне преоткровенное признание одного, уж конечно, умного человека по поводу вышедшей одной официального характера книги – именно что заниматься вопросом о том: полезна или не полезна была народу реформа? – есть в сущности вопрос праздный; что если б даже и не полезна она оказалась народу, то все равно, проваливайся все, а реформа должна была совершиться (и в этом, пожалуй, много правды, на основании *regere mundus*, несмотря на постановку вопроса). И наконец, что касается собственно до народа, до мужиков, то – признался фельетонист весьма явственно – «это ведь и правда, что собственно народ наш не стоил реформы», «и что если мы до реформы в литературе и публицистике венчали лаврами и розами с г-дами Марко Вовчком и Григоровичем мужиков, то ведь мы очень хорошо знаем, что венчали только вшивые головы... Но нужно было это тогда для подживления дела» и т. д. и т. д. Вот сущность мысли (изложение мое не буквальное), выраженной в фельетоне с такою откровенностью и уже без малейшей прежней церемонии. Признаюсь, эта слишком уже откровенная мысль, эта обнаженность ее, почти впервые обнаружившаяся с таким удовольствием, привела меня тогда в прелюбопытное настроение духа, и помню, я тогда заключил, что мы, ну например в «Гражданине», хоть и разделяем первую часть этой мысли, то есть реформа, даже несмотря ни на какие последствия, но все же не разделим ни за что второй части этой роковой мысли и твердо уверены, что вшивые головы все-таки были достойны реформы и даже совсем не ниже ее. Я думаю, подобное убеждение может составлять именно одну из характерных сторон собственно нашего направления; вот почему я об этом теперь и упоминаю.

Что же касается до моего фельетона... А кстати, московский фельетонист, мой собрат по перу, неизвестно почему, думает, что я стыжусь названия фельетониста, и уверяет на французском языке, что я «*plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique que le pape*». Этот французский язык из Москвы, конечно, тут для того, чтоб подумали, что автор хорошего тона, но все-таки не понимаю, к чему тут приписываемое мне исповедание католической религии и к чему понадобился тут бедный папа? А что до меня, то я лишь выразился, что я не «петербургский» фельетонист, и хотел лишь этим сказать на всякий случай для будущего, что в моем «Дневнике» не об одной собственно петербургской жизни пишу и намерен писать, а стало быть, и спрашивать с меня слишком подробных отчетов о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, нечего. Если же московскому моему учителю непременно хочется назвать мой «Дневник» фельетоном, то пусть; я этим очень доволен.

Московский учитель мой уверяет, что фельетон мой произвел фурор в Москве – «в рядах и в Зарядье», и называет его гостинодворским фельетоном. Очень рад, что доставил такое удовольствие читателям из этих мест нашей древней столицы. Но яд в том, что будто я нарочно и бил на эффект; за неимением читателей высших искал читателей в Зарядье и с этого целью и заговорил «о нем», а стало быть, я – «самый находчивый из всех фельетонистов»...

«То-ись ума не приберу [пишет учитель, рассказывая об эффекте моего фельетона в Москве], – ума не приберу, что это за диковинка такая, какой спрос на этого „Гражданина“ вышел», – удивлялся один из газетных разносчиков на мой вопрос о спросе на „Гражданин“. Когда я объяснил ему в чем дело, разносчик побежал к Мекленбургу и Живареву – нашим оптовым торговцам газетами, чтобы взять оставшиеся номера; но их и там расхватили: „Все-то из рядов да из Зарядья спрашивают...“ Дело в том, что до Гостиного двора дошло сведение, что в „Гражданине“ написана целая статья об нем, и вот гостинодворцы, вместо того чтоб покупать „Развлечение“, кинулись на „Гражданин“».

Да ведь это вовсе недурно, послушайте, это известие, и напрасно вы стыдите меня гостинодворскими читателями. Напротив, очень бы желал приобрести их расположение, ибо вовсе не так худо о них думаю, как вы о них думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смеху и из того, что скандал вышел. На скандал



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru всякий человек набрасывается, это уже свойство всякого человека, преимущественно в России (вы, например, вот набросились же); так что гостинодворцев за это, я думаю, нельзя презирать слишком-то специально. Что же до забавы, до смеху – то есть разные забавы и разный смех, даже в самых соблазнительных случаях. Учитель мой, впрочем, оговаривается; он прибавляет: «Я уверен, что пером автора „картинки об нем“ руководили самые добрые намерения, когда он писал этот гостинодворский фельетон», то есть учитель делает мне честь, допуская, что я не имел непосредственную и главную целью, упоминая о нем, развратить народ. Благодарим хоть за это; так как автор пишет в «Голосе», то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу ничего не стоит обвинить меня в чем угодно, даже в развратительных целях против народа и общества русского (обвинял же меня в крепостничестве). Андрей Александрович сказался тоже под вашим пером и в удивительной обратной догадке: «...и если подобные „картинки“ ваши ничего не сделают для исправления гуляк из рабочего люда...» – говорите вы. Такая догадка как раз из головы Андрея Александровича! Ведь придет же в голову, что я писал, имея непосредственную и ближайшую целью исправить (от сквернословия) наш ругающийся рабочий народ! Да ведь они не только про нас с вами, но даже и про Андрея-то Александровича никогда не слыхивали – эти из рабочего-то люда, которых я описывал в моем фельетоне!

Нет, я писал с другим направлением – о сем «существительном», «при дамах к произнесению неудобном», «а между пьяными наиболее употребительном», – и настаиваю, что имел довольно серьезную и извинительную цель, и это вам докажу. Мысль моя была доказать целомудренность народа русского, указать, что народ наш в пьяном виде (ибо в трезвом сквернословят несравненно реже) если и сквернословит, то делает это не из любви к скверному слову, не из удовольствия сквернословить, а просто по гадкой привычке, перешедшей чуть не в необходимость, так что даже самые далекие от сквернословия мысли и ощущения выражает в сквернословных же словах. Я указывал дальше, что главную причину этой сквернословной привычки искать надо в пьянстве. Про догадку мою о потребности в пьяном виде, когда туго ворочается язык и между тем сильное желание говорить, прибегать к словам кратким, условным и выразительным, – про эту догадку мою можете думать что угодно; но что народ наш целомудрен, даже и сквернослова, – на это стоило указать. Я даже имею дерзость утверждать, что эстетически и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнее в этом смысле нашего грубого и столь неразвитого простого народа. В мужских обществах, даже самого высшего круга, случается иногда после ужина, иной раз даже между седыми и звездоносными старичками, когда уже переговорят о всех важных и даже иногда государственных материях, – перейти мало-помалу на эстетически-каскадные темы. Эти каскадные темы быстро в свою очередь переходят в такой разврат, в такое сквернословие, в такое скверномыслие, что никогда воображению народному даже и не представить себе ничего подобного. Это случается ужасно часто между всеми оттенками этого столь возвышенного над народом круга людей. Мужички, известные самыми идеальными добродетелями, даже богомольцы, даже самые романтические поэты с жадностью участвуют в сих разговорах. Тут всего важнее именно то, что иные из сих мужей почтенны бесспорно и делают много и хороших поступков. Нравится им именно пакость и утонченность пакости, не столько скверное слово, сколько идея, в нем заключающаяся; нравится низость падения, нравится именно вонь, словно лимбургский сыр (неизвестный народу) утонченному гастроному; тут именно потребность размазать и понюхать и упиться запахом. Они смеются, они об этой пакости, конечно, говорят свысока, но видно, что она им нравится и что без нее они уже обойтись не могут, хоть на словах. Совсем иной смех у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я уверен, что у вас в Зарядье смеялись не для пакости, не из любви к нему и к искусству, а смехом в высшей степени простодушным, не развратным, здоровым, хотя и грубоватым, – совсем не таким, каким смеются иные размазыватели в нашем обществе или в нашей литературе. Народ сквернословит зря, и часто не об том совсем говоря. Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, – и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать.

Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерною, почти сатанинскою гордостью.

«Я воспользуюсь примером почтенного коллеги [то есть моим], – говорит он, – когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда заняться тоже „картинками“ [какое презрение!], – но в данный момент мне нет надобности пользоваться преподанным мне примером [то есть у умного человека и без «него» всегда много мыслей], потому что хоть у нас в Москве тоже „жар и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoy1eo.ru  
пыль“, „пыль и жар“ [начальные слова моего фельетона – для того чтоб еще раз устыдить меня] – но из этой пыли [а-а! вот тут-то теперь и пойдет, вот он покажет нам сейчас, что может умная московская фельетонная голова вывести даже из «этой пыли» – сравнительно с петербургскими], но из этой пыли и из-под этого жара [это что же такое «из-под жара»?] можно при известной внимательности усмотреть [слушайте! слушайте!], что жизненный пульс нашей белокаменной, значительно слабеющий летом, начинает, так сказать, оживляться, с тем чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть в зимние месяцы той интенсивности, дальше которой уже не может идти пульс московской жизни».

Вот так мысль! Вон оно как у нас в Москве-то! А мне-то, мне-то какой урок! А знаете что, учитель? Мне-то вот и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о нем, именно чтоб сделать и ваш фельетон занимательнее (а то что интенсивность-то!), может быть, даже позавидовали моему успеху в Зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы вы так копаться и размазывать и столько раз поминать об этом; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали...

«...все же мы доросли до того по крайней мере, чтоб разнюхать, когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора...»

Ну так чем же пахнет?

XV. Нечто о вранье

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеєю, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть челгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно – не случилось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал»! Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысла в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее, с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уж на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит: нет, то есть, что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидках, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случилось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя не приметно, так что просто можно было совсем не заметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не верить.

«Э, вздор! – скажут мне опять. – Лганье невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее, все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец-то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и чуть в обществе все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского – непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреодолимое; но, в сознании, русские – хотя бы и самые полные самоотрицатели из них – все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, – рассуждает русский, – стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под неперменным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя – и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом иль англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

\* \* \*

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», – скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может (другое дело у себя дома и сам про себя). Пункт этот – ум, желанье показаться умнее, чем есть, и – замечательно это – отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился пред гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разъевропейский.

«Ну Гете, ну Либих, ну Бисмарк, ну положим... а все-таки и я тоже», – представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства – то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его, – русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит – но все-таки его будет дергать, даже при Либихе... Другое дело если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но – кто знает – в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка – почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, лишь только она почувствует себя в публике, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения...

Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит... Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» – впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту.

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», в проч. и проч. – в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте), разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей – на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят – в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провести: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, – гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколькими порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, – об этом уже нечего ж упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жадью слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», – порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканием объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, – конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику – а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они, хоть вскользь, а побывали в его голове. Но ему не было стыдно, ему не было совестно! Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека – решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что приходишь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, – эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным твердо установленным мнением. Дома, про себя, – «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли, и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано – вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгуших, – я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьезнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб кзаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

XVI. Одна из современных фальшей

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела; но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление, и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
современном обществе возможны – не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев?

И вот недавно – впрочем, уже с месяц назад – прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки:

«...нам кажется, что нечаевское дело могло убедить, что учащаяся молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана. Идиотический фанатик, вроде Нечаева, мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи».

И далее:

«...тем более что еще на днях министр народного просвещения (в Киеве) заявил, что после осмотра учебных заведений в 7 округах он может сказать, что „последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает“».

Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (автор, надеюсь, извинит меня). Но в них есть выверт и старая приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики, а если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно «только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи». Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом собственно автор статейки «Русского мира»: хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, – то есть для ее же пользы, – и для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятками: вот, дескать, милые дети, видите, какие те нехорошие буяны, кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие «недоразвитки»; вы же вот такие милые хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостинцу дадут. Или, наконец, просто-запросом автору захотелось «защитить» нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким?

Прямо скажу: хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статейки «Русского мира» не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтоб оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я склонен считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всяком другом случае. Но кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид (несмотря даже на то, что является в «Русском мире»), – кроме того, бросается в глаза и то, что никогда еще не являлась она в столь обнаженном, точном и безыскусственном виде, как в этой статейке. Подлинно, заставь иного человека молиться богу, и он лоб расшибет. Вот в этом-то виде и любопытно проследить эту ложь и вывести ее на свет по возможности, ибо когда-то еще дождешься в другой раз такой безыскусственной откровенности!

Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило «защищать молодежь», – против кого? против чего? – это иногда остается во мраке неизвестности и таким образом часто принимает пребестолковый и даже прекомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что «вот, дескать, мы либеральнее, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретрограднее. Замечу в скобках, что в той же статейке «Русского мира» есть обвинение, прямо направленное на «Гражданин», в том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове. Не говоря уже о том, что автор статейки сам отлично хорошо знает, что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значит обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значит сплошь почему-то не любить всю молодежь, – и не столько даже молодежь, сколько известный возраст наших молодых людей! Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение и защита сделаны сплеча, даже не думавши много. Стоит, дескать, об этом задумываться: показал, что сам либерален, что хвалю молодежь, что ругаю тех, которые ее не хвалят, ну и довольно для подписки, и с плеч долой! Именно с плеч

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru долой – ибо только самый злейший враг нашей молодежи мог бы решиться защищать ее таким образом и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся (нечаянно – я убежден в этом теперь более, чем когда-нибудь) простодушный автор статейки «Русского мира».

В том-то и вся важность, что прием этот не выдумка одного только «Русского мира», а прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы, и там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, во-первых, в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволят себе отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла и так любит лести, что не разберет и примет все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечет уже непосредственный и вещественный вред.

Эта другая сторона приема «защиты нашей молодежи пред обществом и перед правительством» состоит в простом отрицании факта, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клеветает на молодежь, значит, враг нашей молодежи!

Вот прием. Повторяю, самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это.

Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов.

Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять (и, главное, бог знает для чего), что «увлекающаяся» молодежь, то есть те, которые могут «увлечься» (пусть даже и Нечаевым), непременно должны состоять из одних только «праздных недоразвитков», из тех, которые вовсе не учатся, – одним словом, из шалопаев с самыми дурными наклонностями? Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы учащихся и сводя непременно лишь на «праздных недоразвитков», вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно: «Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть». Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым (а в этом-то и состоит единственная возможная защита несчастных «заблудшихся!»), вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их и что эти юноши, даже и без всякого преступления, должны возбуждать к себе презрение и отвращение.

С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь деле оказались бы замешанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающие ногами под столом, вовсе не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная? (Поймите это слово: направленная. Где, в какой Европе найдете вы теперь более шатости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время!) И вот, по вашей теории «лентяев и недоразвитков», эти новые «несчастные» окажутся уже втрое виновнее: «Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, – нет у них оправданий! Они втрое менее, чем праздные недоразвитки, могут заслуживать милосердия!» Вот результат, прямо выходящий из вашей теории.

\* \* \*

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русского мира»), вы, на основании «отрицания факта», утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, «идиотическими фанатиками». Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жадной интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но – почему же они «идиоты»? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, «научки», школьные сведеньца (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков.  
Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему,  
чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», – говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. Дело же петрашевцев – это такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, – это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные – против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его.

Луи Блана напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно, густейшие длинные и черные волосы) члены-товарищи его Национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго (астроном, член правительства, теперь уже умерший), в то несчастное утро в мае месяце 48 года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неapolитичны и, конечно, смешны. Журнал же Консидерана, равно как статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все воздвигаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет» (ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru настоящее провалилось, – и вот пока вся формула политического социализма). Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, согласно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. – все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавой и стоявшей далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий – а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство а Та нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки, в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!

Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники ее, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете от нее такой стойкости и такой зрелости убеждений, какой не было даже у их отцов, а теперь менее чем когда-нибудь есть. Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, – тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сани европейца под непременно условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!

\* \* \*

Но вы этим слишком общим указанием, кажется, не поверите. «Образование, – твердите вы, – прилежание»; «праздные недоразвитки», – повторяете вы. Заметьте, господа, что все эти европейские высшие учителя наши, свет и надежда наша, все эти Милли, Дарвины и Штраусы преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека. А между тем это уже не лентяи, ничему не

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru учившиеся, и не буяны, болтающие ногами под столом. Вы засмеетесь и спросите: к чему вздумалось мне говорить непременно об этих именах? А потому, что трудно и представить себе, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтоб эти имена, например, миновали ее при первых шагах ее в жизни. Разве может русский юноша остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» пусть мне простят, единственно потому что эта русская сторона этих учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема. Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново – то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе.

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?... Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем... разумеется опять-таки если попадет на Нечаева; это уже sine qua non...

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной природы, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.

Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Не гордость, не самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частью, выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, – если и мне, говорю я, было так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?...

Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно; да и не идет как-то к фельетонной статье.

\* \* \*

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя: может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от известных влияний?

Прежде всего поставьте вопрос: если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями; если с самого первого детства своего эти дети встречали в семьях своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большею частью) отрицание; если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если еще в детстве их прогоняли их нянек за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу», – то скажите: что можно требовать от этих детей и – гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделяться одним лишь отрицанием факта? Недавно я наткнулся в газетах на следующее entrefilet:

«„Камско-Волжская газета“ сообщает, что на днях три гимназиста 2-ой казанской гимназии, 3-го класса, привлечены к ответственности по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с их предполагавшимся бегством в Америку» («С.-Петербургские ведомости», 13 ноября).

Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что теперь это не кажется мне сумбуром, а вещь, которую, напротив, я понимаю, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание!

Оправдание! Боже мой, возможно ли так сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике, бежавшем пешком, через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком? Помните рассказ самого Герцена о том кадете, который отправился, кажется, на филиппинские острова завести коммуны и оставил ему 20000 франков на будущих эмигрантов? А между тем все это уже древняя история! С тех пор бежали в Америку изведать «свободный труд в свободном государстве» старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры... разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головами одолели великие идеи о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству – добродетелью? А если винить, то в какой же степени – вот вопрос.

Автор статейки «Русского мира» в подкрепление своей идеи, что в «подобных безумствах» замешаны у нас лишь одни лентяи и праздношатающиеся недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в 7 учебных округах, что «последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает».

Да, это, конечно, слова отрадные, слова, в которых, может быть, единственная

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования – чуть не вся наша будущность, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы. Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает все более и более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств – самим быть поменее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином, и... хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

1876 январь

Глава первая

I. Вместо предисловия

О большой и малой медведицах, о молитве великого Гете и вообще о дурных привычках

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слышали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью...»

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де и жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального.

И при этом ни одного гамлетовского вопроса: Но страх, что будет там...

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется «я» и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слышал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших – полное *tabula rasa*, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? – он обязан лишь своему лику человеческому.

«Великий дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не  
вздумает попроситься, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно  
будет.

– О чем это вы заговорили? – спросит меня удивленный читатель.

– Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без  
предисловия.

– В таком случае лучше объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните:  
что вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие,  
может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо  
слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до  
либерализма, то всем известный незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих,  
говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим,  
не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил  
тут едкость. Действительно, либерализм наш обратился в последнее время  
повсеместно – или в ремесло или в дурную привычку. То есть сама по себе это была  
бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже  
странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных  
либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо  
квиелизм всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря  
на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем  
мало-помалу совершенно исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе  
нет, и в этом смысле начинают сильно сбиваться; есть примеры даже чрезвычайных  
случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее,  
связали себя либерализмом как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным  
случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю  
себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю  
успокоиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я  
человек, то я бы так о себе выразился: «Je suis un homme heureux qui n'a pas  
l'air content», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но – кое-чем  
недовольный»...

На этом и кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

II. Будущий роман. Опять «случайное семейство»

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей.  
Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно  
уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и  
конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма  
готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму  
отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их  
самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать  
роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и  
детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь  
«Подростка» – эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и  
появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить  
свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшную  
возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и  
тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок  
в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит его еще в стыдливых, но уже  
дерзких и бурных мечтах своих, – все это оставленное единственно на свои силы и  
на свое разумение, да еще, правда, на бога. Все это выкидыши общества,  
«случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и об самоубийстве ее  
убийцы. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же  
сняла квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее  
оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей  
слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и  
преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчиков 12 и  
9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним.  
Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...когда нам новы

Все впечатленья бытия,

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

III. Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облеглаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платья, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества – непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с неперменной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так все облеглают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облеглавать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облеглавании. Иногда облеглавание вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облеглаванная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!

Летит обжорливая младость

Глотать...

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) – вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегланное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть и такие, которые, о сю пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) – толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскарade и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая и фантастическая, – и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумирающий; но все же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где все кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, – встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, – свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже, может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей – в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, об котором слышали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хоршее общество. Вот почему ему и дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какую-то невидимую, но чрезвычайную силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на середину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, – и мысль о том, что ему этого не позволили, да и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того – потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели, – мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и поторопившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шушу говоря это.

#### IV. Золотой век в кармане

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами, вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать – сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец – это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, – подумал я, – если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, – во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, – куда ума! – остроумия самого тонкого, самого общительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! Тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны!

Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?

Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове золотой век: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, – вы же старший по чину, вам инициатива, – и вот увидите сами, какое пионовское, так сказать, остроумие могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклищал, не парадокс, а совершенная правда... А беда ваша вся в том, что вам это невероятно.

#### Глава вторая

##### I. Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмуша: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрал копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабаки, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекающимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную  
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, все факты.

## II. Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяику углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяется по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поест, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копейка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платья и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и спрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господина бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

III. Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества

На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети – в том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? – все это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу.

Я был в колонии малолетних преступников, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались все показать. Мы отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. Тут до пятисот десятин лесу пожертвовано колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Все это выстроено на пожертвованные деньги, каждый дом обошелся тысячи в три, в каждом доме живет «семья». Семья – это группа мальчиков от двенадцати до семнадцати человек, и в каждой семье по воспитателю. Мальчиков положено пока иметь до семидесяти, судя по размерам колонии, но в настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанников. Надобно сознаться, что средства употреблены широкие, и каждый маленький преступник обходится в год недешево. Странно и то, что санитарное состояние колонии, как извещали еще недавно в газетах, не совсем удовлетворительно: в последнее время было много больных, а уж как, кажется, хороши бы и воздух и содержание детей! Мы провели в колонии несколько часов, с одиннадцати утра до полных сумерек, но я убедился, что в одно посещение во все не вникнешь и всего не поймешь. Директор заведения приглашал меня приехать пожить дня два с ними; это очень заманчиво.

Директор П. А-ч Р-ский известен в литературе; его статьи появляются иногда в «Вестнике Европы». Я встретил от него самый приветливый прием, полный предупредительности. В конторе заведена книга, в которую посетители, если хотят, вписывают свои имена. Между записавшимися я заметил много известных имен; значит, колония известна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности почтенный директор, кажется, человек очень сдержанный, хотя он почти с восторгом выставлял перед нами отрядные черты колонии, в то же время, однако, несколько смягчая все неприятное и еще неналаженное. Спешу прибавить, что сдержанность эта, как мне показалось, происходит от самой ревнивой любви к колонии и к начатому делу.

Все четыре воспитателя (кажется, их четверо, по числу семей) все люди не старые, даже молодые, получают по триста рублей жалованья и почти все вышли из семинарии. Они живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм – нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем. Когда мы обходили камеры, они были пусты; дело праздничное, и дети где-то играли, но тем удобнее было осмотреть помещения. Никакой ненужной роскоши, ничего слишком излишнего, навеянного излишнею добротою или гуманностью жертвователей и учредителей заведения, – а это очень могло бы случиться, и вышла бы значительная ошибка. Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла тоже весьма нещегоольские, но теплые. Воспитанники встают рано и сами, все вместе, убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Близ иных коек слышался некоторый запах, и я узнал почти невероятную вещь, что иные

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru из воспитанников (немногие, но, однако, человек восемь или девять) и не очень маленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, – так и делают свою нужду во сне, не вставая с койки. На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь – мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что они дикие, – до того приходят дикими, что даже и понять не могут, что можно и надо вести себя иначе. Но где же они были в таком случае до того, в каких трущобах выросли и кого видели! Нет почти такой самой бедной мужицкой семьи, где бы ребенка не научили в этом случае, как надо держать себя, и где бы даже самый маленький мальчик не знал того. Значит, каковы же люди, с которыми он сталкивался, и до чего зверски равнодушно относились они к существованию его! Этот факт, однако же, точный, и я считаю его большой важности; пусть не смеются, что я этот грязненький фактик «вздуваю» до таких размеров: он гораздо серьезнее, чем может показаться. Он свидетельствует, что есть же, стало быть, до того мрачные и страшные особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности. Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей. Да, эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; задача большая.

– Вы не поверите, какими сюда являются дикими иные из них, – сказал мне П. А-ч: – ничего иной не знает ни о себе, ни о социальном своем положении. Он бродяжил почти бессознательно и единственное, что он знает на свете и что он мог осмыслить, – это его свобода, свобода бродяжить, умирать с холоду и с голоду, но только бродяжить. Здесь есть один маленький мальчик, лет десяти, не больше, и он до сих пор никак, ни за что не может пробыть, чтобы не украсть. Он ворует даже безо всякой цели и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

– Как же вы надеетесь перевоспитать таких детей?

– Труд, совершенно иной образ жизни и справедливость в обращении с ними; наконец, и надежда, что в три года, сами собою, временем, забудутся ими старые их пристрастия и привычки.

Я осведомился: нет ли между мальчиками еще и других, известных детских порочных привычек?

– Кстати напомню, что мальчики здесь от десяти и даже до семнадцатилетнего возраста, хотя принимаются на исправление никак не старше четырнадцати лет.

– О, нет, этих скверных привычек не может и быть, – поспешил ответить П. А-ч, – воспитатели при них неотлучно и беспрестанно наблюдают за этим.

Но мне показалось это невероятным. В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке, теперь там уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. Потом я узнал с совершенною достоверностью, что разврат между ними в замке был необычайный, что те из поступивших в замок бродяг, которые еще не заражены были этим развратом и сначала гнушались им, подчинялись ему потом почти поневоле, из-за насмешек товарищей над их целомудрием.

– А много ли было рецидивистов? – осведомился я.

– Не так много; из всех выпущенных из колонии было всего до восьми человек (цифра, однако, не маленькая).

Замечу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и им приискивается «предварительно» помещение. Прежде паспорта, выдаваемые от колонии, им очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать им такие паспорта, из которых нельзя, с первого взгляда по крайней мере, увидеть, что предьявитель его из колонии преступников.

– Зато, – прибавил поспешно П. А-ч, – у нас есть и такие выпущенные, которые до сих пор не могут забыть о колонии и чуть праздник – непременно приходят к нам побывать и погостить с нами.

Итак, самое сильное средство перевоспитания, переделки оскорбленной и

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru опороченной души в ясную и честную есть труд. Трудом начинается день в камере, а затем воспитанники идут в мастерские. В мастерских: в слесарной, в столярной, мне показывали их изделия. Поделки, по возможности, хороши, но конечно будут и гораздо лучше, когда более наладится дело. Они продаются в пользу воспитанников, и у каждого таким образом скопляется что-нибудь к выходу из колонии. Работую дети заняты и утром, и после обеда, – но без утомления и, кажется, труд действительно оказывает довольно сильное впечатление на их нравственную сторону: они стараются сделать лучше один перед другим и гордятся успехами.

Другое средство их духовного развития – это, конечно, самосуд, введенный между ними. Всякий провинившийся из них поступает на суд всей «семьи», к которой принадлежит, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию. Единственное наказание – отлучение от игр. Не подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них Петропавловка – так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для временно удаленных. Впрочем, заключение в Петропавловку зависит, кажется, единственно от директора. Мы ходили в эту Петропавловку; там было тогда всего двое заключенных, и замечу, что заключают осторожно и осмотрительно, за что-нибудь слишком уж важное и закоренелое. Эти двое заключенных помещались каждый в особой маленькой комнатке и взаперти, но нам их лично не показали.

Этот самосуд, в сущности, конечно, дело хорошее, но отзывается как бы чем-то книжным. Есть много гордых детей, и гордых в хорошую сторону, которые могут быть оскорблены этою вечевою властью таких же как они мальчиков и преступников, так что могут и не понять эту власть настоящим образом. Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в «семье», и их может укусить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящие мальчики понимают ли и сами-то хорошо свое дело? Не явятся ли, напротив, и между ними их детские партии каких-нибудь тоже соперничающих мальчиков, посильнее и побойчее прочих, которые всегда и непременно являются между детьми во всех школах, дают тон и ведут за собою остальных как на веревке? Все же ведь это дети, а не взрослые. Наконец, осужденные и потерпевшие наказание будут ли смотреть потом так же просто и братски на своих бывших судей и не нарушается ли этим самосудом товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано в той идее, что эти, прежде преступные дети таким правом самосуда как бы приучаются к закону, к самосдержанию, к правде, о которой прежде вовсе не ведали, разовьют, наконец, в себе чувство долга. Все это мысли прекрасные и тонкие, но несколько как бы обоюдоострые. Насчет же наказания, конечно, выбрано самое действительное из самых сдерживающих наказаний, то есть лишение свободы.

Кстати, вверну сюда одно странное нотабене. Мне нечаянно удалось услышать на днях одно весьма неожиданное замечание насчет отмененного у нас повсеместно в школах телесного наказания: «Отменили везде в школах телесное наказание и прекрасно сделали; но чего же, между прочим, достигли? Того, что в нашем юношестве явилось чрезвычайно много трусов, сравнительно с прежним. Они стали бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, всякой даже обиды, всякого уязвления их самолюбия, и до того, что некоторые из них, как показывают примеры, при весьма незначительной даже угрозе, даже от каких-нибудь трудных уроков или экзаменов, – вешаются или застреливаются». Действительно, всего вернее объяснить несколько подобных и в самом деле происшедших случаев единственно трусостью юношей перед чем-нибудь грозящим или неприятным; но странная, однако, точка зрения на предмет, и наблюдение это по меньшей мере оригинально. Вношу его для памяти.

Я видел их всех за обедом; обед самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его с большим удовольствием попробовали еще до прихода воспитанников; и однако, еда каждого мальчика обходится ежедневно всего лишь в пятнадцать копеек. Подают суп или щи с говядиной и второе блюдо – каша или картофель. Поутру, вставши, чай с хлебом, а между обедом и ужином хлеб с квасом. Мальчики очень сыты; за столом прислуживают очередные дежурные. Садясь за стол, все превосходно пропели молитву: «Рождество твое Христе боже наш». Петь молитвы обучает один из воспитателей.

Тут, за обедом, в сборе, мне всего интереснее было всмотреться в их лица. Лица не то чтобы слишком смелые или дерзкие, но лишь ничем не конфузящиеся. Почти ни одного лица глупого (хотя глупые, говорили мне, между ними водятся; всего более

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru отличаются этим бывшие питомцы воспитательного дома); напротив, есть даже очень интеллигентные лица. Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя. Смеющихся лиц тоже мало, а между тем воспитанники очень развязны перед начальством и перед кем бы то ни было, хотя несколько и не в том роде, как бывают развязны другие дети с более открытым сердцем. И, должно быть, ужасно многим из них хотелось бы сейчас улизнуть из колонии. Многие из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей (хотя, впрочем, они и умеют быть строгими, когда надо), – мне кажется, не совсем достигает в некоторых случаях до сердца этих мальчиков и, уж конечно, и до их понятия. Им говорят вы, даже самым маленьким. Это вы показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Может быть, мальчики, попав сюда, сочтут это лишь за господскую затею. Одним словом, это вы, может быть, ошибка и даже несколько серьезная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет от детей воспитателя; в вы заключается как бы нечто формальное и казенное, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное. Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, проворавшийся до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, ты, по-моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются. Ведь гораздо же лучше, если дети наконец осмыслят, что воспитатели их не гувернеры, а отцы их, а что сами они – всего только лишь дурные дети, которых надобно исправлять. Впрочем, может быть, это вы и не испортит мальчика; а если его и скорчит потом от ты или даже от брани, которую он услышит опять неминуемо, в тот же самый день, как его выпустят из заведения, то еще с большим умилением вздохнет по своей колонии.

Из неналаженных вещей особенно замечается чтение. Мне говорили, что дети очень любят читать, то есть слушать, когда им читают, по праздникам или когда есть время, и что между ними есть хорошие чтецы; я слышал лишь одного из чтецов, он читал хорошо и, говорят, очень любит читать всем вслух и чтоб все его слушали; но есть между ними и совсем малограмотные, есть и совсем неграмотные. Но что, однако, у них читают! Лежит на столе – я видел это в одной семье после обеда – какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то Ольгой об разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». Я видел их «библиотеку» – это шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если б и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни севастьяпольские рассказы, ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало бы как с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей.

Школа тоже находится в совершенном младенчестве, но ее тоже собираются наладить в самом ближайшем будущем. Черчению и рисованию почти совсем не учат. Закона божия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура действительно недурна, в несколько, впрочем, казенном, усиленно русском стиле, очень приевшемся. Кстати, замечу: без сомнения, преподавание закона божия в школах – преступников или в других наших

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru первоначальных школах – не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта». С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! я вовсе не хочу никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из «батюшек», но, однако же, что сообщали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно – «трудящийся достоин платы», но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я конечно тоже; но как-то все мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отрадно ли было бы услышать, что духовным просветителям нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю, пусть не обижаются; все отлично знают, что, в среде нашего священства, не иссякает дух и есть горячие деятели. И я заране уверен, что такой именно и будет в колонии; но всего бы лучше, если б им – просто рассказывали священные истории, без особой казенной морали и тем ограничили бы пока законоучение. Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души...

Впрочем, я простился с колонией с отрадным впечатлением в душе. Если что и не «налажено», то есть, однако же, факты самого серьезного достижения цели. Расскажу из них два, чтоб закончить ими. В Петропавловке, в заключении, в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в тюрьме Литовского замка, когда там еще было отделение малолетних преступников. Присужденный поступить в колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, он прямо объявил, что не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. К рождеству родственники принесли ему гостинцев, но гостинцев к нему не допустили как к заключенному, и их конфисковал воспитатель. Это страшно обидело и поразило мальчика, и в посещение директора он стал ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя в том, что тот посылку и гостинцы конфисковал себе, в свою пользу; тут же со злобой и насмешкой выражался об колонии и об товарищах, он всех винил. «Я с ним сел и серьезно поговорил, – рассказывал мне П. А-ч. – Он все время мрачно молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему – и что же: бросился ко мне со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие вещи, которые от всех доселе таил, случившиеся с ним прежде; рассказывал за тайну, что он давно уже предан одной постыднейшей привычке, от которой не может отвязаться, и что это его мучит, – одним словом, это была полная исповедь. Я с ним провел часа два, – прибавил П. А-ч. – Мы поговорили; я посоветовал некоторые средства, чтоб побороть привычку, ну там и проч. и проч.».

П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, об чем они там между собою переговорили; но, согласитесь, есть же умение проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желал узнать в подробности этот разговор. Вот другой факт: каждый воспитатель, в каждой семье, не только наблюдает за тем, чтобы воспитанники убрали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе. Там моют полы по субботам; воспитатель не только показывает, как надо мыть, но сам вместе с ними принимается мыть и вымывает пол. Это уже самое полное понимание своего призвания и своего человеческого достоинства. Где вы, в чиновничестве например, встретите такое отношение к делу? И если в самом деле, вправду, эти люди решились соединить задачи колонии с своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет «налажено», несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились вначале.

«Герои, – вы, господа романисты, все ищете героев, – сказал мне на днях один выдавший виды человек, – и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, – вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человек до того страдал душой всю жизнь



Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, – в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четыре человека и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло неизвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это „идеалист сороковых годов“ и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за все про все грязью».

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человечек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей...

Впрочем, я в колонии провел всего лишь несколько часов и мог многое напередать себе, недоглядеть и ошибиться. Во всяком случае, средства к переделке порочных душ в непорочные нахожу пока недостаточными.

### Глава третья

I. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала?

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

«И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить [Образить – слово народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных.] и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательнее лишь, чтобы идея Общества стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и взрослеют, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоминалось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика Общество привлекло к ответственности за дурное обращение с лошастью и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то уж, конечно, было неловкостью, потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы о слишком излишних хлопотах Общества, чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям, такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru критики. Цель Общества вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательным, чтобы действия Общества и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым Общество может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья). Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облужок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбегал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «все на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею наkostenял», а парень, может, в тот же день приедет молодую жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru  
ответственности за бесчеловечное обращение с своими лошадками, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять уж, конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставившее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы; вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдъегеря, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдъегеря? – Очень может, – тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не зная чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал об ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдъегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей могущих иметь влияние. Ну что если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, гложет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстывать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, – все вздор. Беда, если он укрепитя в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, – неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают» – и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и пронизывает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственной властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, – и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ непрерывным соблазном,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было Г-на Суворина за случай его с Г-ном Голубевым. Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движений. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что Г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесят�ерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молоденький паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул перочинный ножичек и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинился: «Не знаю, как и случилось, и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; – даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея», – вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не все с конца, а хоть отчасти бы и с начала.

II. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти

Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, – указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извещая о недавней смерти одного из них, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; – это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перевернул покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своем «Les Mémoires d'un maître d'armes». Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, родной брат казненного. Живы Свистунов и Назимов; может быть, есть и еще в живых.

Одним словом – многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это – черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди. Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие». Коли заговорили даже пастыри, значит дело разрастается не на шутку. Но вся беда в том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, – то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» – и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся, по-прежнему, делом. Но чтобы исследовать: черти ли это, нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдется хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен, в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать.

Во-первых, пишут, что духи глупы (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), – что когда их зовут и спрашивают (столовверчением), то они отвечают все пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытия. Так судить – чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали свое могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т. е. в случае, если б он еще не был открыт), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то – найдешь клад или найдешь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), – да что, это еще все пустяки! – Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая еще в младенчестве, почти только что начинает дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твердо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что солнце стоит, а земля вокруг него обращается (потому что наверно есть еще много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь еще не открыты, да и не сняты мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда стало с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, – словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более беспрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займется высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И заглохло бы человечество; люди закрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы». Поняли бы люди,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении. Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым им вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к богу: «Прав ты, господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхование... О, никогда бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здравым путем (опять-таки если в самом деле тут черти!).

Идея их царства – раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств. В раздоре обидчик, сознав, что он обидел, не идет мириться с обиженным, а говорит: «Я обидел его, стало быть, я должен ему отомстить». Но главное в том, что черти превосходно знают всемирную историю и особенно помнят про все, что на раздоре было основано. Им известно, например, что если стоят секты Европы, оторвавшиеся от католичества, и держатся до сих пор как религии, то единственно потому, что из-за них пролита была в свое время кровь. Кончилось бы, например, католичество, и непременно затем разрушились бы и протестантские секты: против чего же бы им осталось тогда протестовать? Они уж и теперь почти все склонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм, что в них, впрочем, уже давно замечалось, и если все еще лепятся как религии, то потому, что еще до сих пор протестуют. Они еще прошлого года протестовали, да еще как: до самого папы добирались.

О, разумеется, черти в конце концов возьмут свое и раздавят человека «камнями, обращенными в хлебы», как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: «divide et impera» (разъедини противника и восторжествуешь). А для того надобен раздор. С другой стороны, люди соскучатся от камней, обращенных в хлебы, а потому надо приискать им занятие, чтоб не скучали. А раздор ли не занятие для людей!

Теперь проследите, как черти у нас вводят раздор и, так сказать, с первого шагу начинают у нас спиритизм с раздора. Как раз этому способствует наше мечущееся время. Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать свое дело, несмотря на раздор. Да и как им перестать исследовать: черти начинают с краю, возбуждают любопытство, но сбивают, а не разъясняют, путают и явно смеются в глаза. Умный и достойный всякого постороннего уважения человек стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?» Наконец махает рукой и уже готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остается из самолюбия.

Перед нами ревизионная над спиритизмом комиссия во всеоружии науки. Ожидание в публике, и что же: черти и не думают сопротивляться, напротив, как раз постыднейшим образом пасуют: сеансы не удаются, обман и фокусы явно выходят наружу. Раздается злобный хохот со всех сторон; комиссия удаляется с презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются в стыд, чувство мести закрадывается в сердца обеих сторон. И вот, кажется бы, погибать чертям, так вот нет же. Чуть отвернутся ученые и строгие люди, они мигом и покажут опять какую-нибудь штучку посверхъестественнее своим прежним адептам, и вот те опять уверены пуще прежнего. Опять соблазн, опять раздор! В Париже, прошлым летом, судили одного фотографа за спиритские плутни; он вызывал покойников и снимал с них фотографии; заказов получал пропасть. Но его накрыли, и на суде он во всем сознался, даже представил и ту даму, которая помогала ему и представляла вызванные тени. Что ж вы думаете, те, которых обманул фотограф, поверили? Ничуть; один из них, говорят, сказал так: «У меня умерло трое детей, а портретов их не осталось; и вот фотограф мне снял с них карточки, все похоже, я всех узнал. Какое мне теперь дело, что он сознался вам в плутовстве? На то у него свой расчет, а у меня в руках факт, и оставьте меня в покое». Это было в газетах; не знаю, так ли я передал подробности, но сущность верна. Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия,

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса и Олькота, – отведут его в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, оматерьялизуют ему знакомых покойников, и все в таком виде, что уже нельзя усумниться, – ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать совершившийся факт – и это он, читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. Ну, а что, если черти, приготовив поле и уже достаточно насадив раздор, вдруг захотят безмерно расширить действие и перейдут уже к настоящему, к серьезному? Это народ насмешливый и неожиданный, и от них станется. Ну что, например, если они вдруг прорвутся в народ, ну хоть вместе с грамотностью? А народ наш так незащищен, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям с страстью (верит же он Иванам Филипповичам), и тогда – какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям. А раздор несомненно начнется, особенно если спиритизм добьется стеснения, преследования (а оно может даже неминуемо последовать от остального же народа, не уверовавшего спиритизму) – тогда он мигом разольется, как зажженный керосин, и все запылает. Мистические идеи любят преследование, они им созидаются. Каждая такая преследуемая мысль подобна тому самому петролею, которым обливали полы и стены Тюльери зажигатели перед пожаром и который, в свое время, лишь усилит пожар в охраняемом здании. О, черти знают силу запрещенного верования, и, может быть, они уже много веков ждали человечество, когда оно споткнется о столы! Ими, конечно, управляет какой-нибудь огромный нечистый дух, страшной силы и поумнее Мефистофеля, прославившего Гете, по уверению Якова Петровича Полонского.

Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов склонны капельку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. А потому дай бог поскорей успеха свободному исследованию с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух, а может быть, и обогатит науку новым открытием. А кричать друг на друга, позорить и изгонять друг друга, за спиритизм, из общества – это, по-моему, значит лишь укреплять и распространять идею спиритизма в самом дурном ее смысле. Это начало нетерпимости и преследования. Чертям того и надо!

### III. Одно слово по поводу моей биографии

На днях мне показали мою биографию, помещенную в «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным (год второй, выпуск V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г-ном В. З. Трудно представить, чтоб на одной полстранице можно было наделать столько ошибок. Я родился не в 1818-м году, а в 1822-м. Покойный брат мой, Михаил Михайлович, издатель журналов «Время» и «Эпоха», был моим старшим братом, а не младшим четвертым годами. После срока моей каторги, в которую я сослан был в 1849-м году как государственный преступник (о характере преступления ни слова не упомянуто у г-на В. З., а сказано лишь, что «замешан был в дело Петрашевского», то есть в бог знает какое, потому что никто не обязан знать и помнить про дело Петрашевского, а «Энциклопедический словарь» назначается для всеобщих справок, и могут подумать, что я сослан был за грабеж); после каторги я прямо, по воле покойного государя, поступил в рядовые и через три года службы был произведен в офицеры; водворен же на поселении (поселен) в Сибири, как рассказывает г-н В. З., я никогда не был.

Порядок сочинений моих перемешан: повести, принадлежащие к самому первому периоду моей литературной деятельности, отнесены в биографии как к последнему. Таких ошибок множество, и я их не перечисляю, чтоб не утомить читателя, в случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки. Г-н В. З. уверяет, что я был редактором газеты «Русский мир»; объявляю на это, что редактором газеты «Русский мир» я никогда не бывал, мало того, не напечатал в этом уважаемом издании никогда ни единой строки. Бесспорно, г-н В. З. (г-н Владимир Зотов?) может иметь свою точку зрения и считать самым последним делом, в биографическом сведении о писателе, верное указание на то, когда он родился, какие именно испытал

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский to1stoyleo.ru приключения, где, когда и в каком порядке печатал свои произведения, какие труды его считать первоначальными, а какие заключительными, какие издания издавал, какие редактировал и в каких был только сотрудником; тем не менее, хоть для аккуратности, желалось бы побольше толку. Не то, пожалуй, читатели подумают, что и все статьи в словаре Г-на Березина составлены так же неряшливо.

#### IV. Одна турецкая пословица

Кстати и на всякий случай, верну здесь одну турецкую пословицу (настоящую турецкую, не сочиненную): «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».

По возможности буду следовать в «Дневнике» моем этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями.

#### Примечания

1

Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (фр.).

2

Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего дяди») (англ. и фр.).

3

Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя (фр.).

4

Мой добрый друг (фр.).

5

Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (фр.).

6

Преданная тебе Мария (фр.).

7

Мой маленький Вениамин (фр.).

8

Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дую с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчивой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству (фр.).

9

Добрый вечер (фр.).

10

Здравствуйте (фр.).



11

Благодарю вас (фр.).

12

Истории крестовых походов и пап (фр.).

13

Туанетта, о, она была очаровательна (фр.).

14

16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (фр.).

15

Мои дорогие друзья (фр.).

16

Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот – я (нем.).

17

Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (фр.).

18

Если бы юность знала, если бы старость могла (фр.).

19

Юноша у ручья (нем.).

20

Ободрить его (фр.)

21

«Как вы полагаете?»

22

«Надо подождать» (нем.).

23

Подите сюда. Голубое небо!

24

Где?

25

Подите сюда! (нем.)

26

Я думаю, правда, Александрин, дождя не будет больше. Больше не будет! (фр.)

27

Толстой и Достоевский. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский tolstoyleo.ru  
Держитесь, дети (нем.).

28 Воздушных замков (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://tolstoyleo.ru> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!